

Далия Трускиновская  
**СИАМСКИЙ  
АНГЕЛ**



Первая реальная проза

# Далия Мееровна Трускиновская

## Сиамский ангел

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=54083245](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54083245)*  
*ISBN 978-5-904919-01-6*

### **Аннотация**

Сон. Вот с чего началось. Со сна, после которого не заладилось...

Сон этот приснился Мареку – обычному парню, работающему в рекламном агентстве и влюбленному в свою коллегу. Причем приснился уже не в первый раз. После этого грань между реальностью и сном, между обыденным и иррациональным стала истончаться.

# Содержание

Ксения	4
Конец ознакомительного фрагмента.	85

# Далия Трускиновская

## Сиамский ангел

### Ксения

Старая лошадь шла даже медленнее, чем ей самой хотелось, и телега переваливала через каждую колдобину, словно тяжело груженная лодка – с волны на волну. Слева от лошади шел возчик, вел под уздцы. Справа – высокая крупная женщина с большим неподвижным лицом. Таким лицам идут платки, особенно когда чуть прикрывают щеки и совершенно прячут волосы. Женщина как раз и имела такой платок, снежно-белый, да и вся ее одежда была удивительно опрятна, вот только юбка на ней сидела и колыхалась как-то неловко, потому что походка женщины невольно наводила на мысль о гренадере, атакующем редут.

Хотя лет ей было немного – и тридцати, пожалуй, не насчитать бы, или самую малость за тридцать, – однако всякий сказал бы, на нее поглядев: замужем не была, и не возьмут, больно сурова, и вид странный, как если бы малость не в своем уме.

– Да бережнее... да не гони ты... – приговаривала женщина, словно смиряя удаль возчика.

– Куда уж тише-то? – отвечал он.

Соседки сошлись у калиточки и придумывали, что бы такое могло быть в телеге.

– Печется Прасковья о господском добре, – неодобрительно заметила первая, маленькая, бойкая, в модном фишбейновом платье, с большими пестрыми букетами по голубому полю, с зачесанными наверх и взбитыми сзади волосами, припудренными весьма изрядно, а что не пудрой, но мукой, – так об этом не всякий догадается. – Уж так печется! Напоказ!

– Да будет тебе, – отвечала товарка, выбежавшая, как сидела дома, только накинув на плечи большой платок. – Кабы я у Петровых служила, так тоже бы пеклась. Живут богато, место у хозяина хорошее, такого места поискать, а сами копейку не считают, Прасковье полную волю дали. Что хошь на рынке покупай, домой носи!

– Вот и говорю – напоказ печется. Чтобы все видели, что не за страх, а за совесть служит. А сама-то смиренница какова? Я видела, как она на хозяина поглядывала. Ты ее, Катенька, не выгораживай.

– Да на что она хозяину? Ты ври, да не завирайся! – изумленно возразила Катя.

Она и за хорошие деньги не могла бы их представить парой – большую, громоздкую, с туповатым лицом Прасковью и легкого, словно только что из танца, в золотым галуном обшитом кафтанчике, невысокого, улыбчивого Андрея Федоровича. Такого чернобрового, большеглазого, с нежными

розовыми губами, только во сне обнимать, наяву – никогда не выпадет.

Да что – лицо, в Петербурге хорошеньких и прехорошеньких кавалеров – множество, вот хоть подойди к дверям Шляхетного корпуса, когда кадетов отпускают, – не налюбуйешься! Андрей Петрович такой голос имел, что запоем – и сердце тает. Издали доносился этот голос, поддержанный клавишином, когда по летнему времени окна открыты, и иголки замирали на середине стежка, и посуда из рук едва не валилась, вот какой это был голос, сущая погибель... Слушаешь – не наслушаешься...

– Так не хозяин же на нее – она на него...

Подружки притихли, пропуская Прасковью и телегу.

– Что везете, Параша? – окликнула Катя.

– Зеркало купили, двух с половиной аршин высотой, – отвечала Прасковья. – Барыне в гардеробную.

– Дорогое, поди?

– Дорогое.

Телега проплыла дальше и встала, не доезжая раскрытых ворот, теперь следовало повернуть и въехать во двор.

– Ишь, гардеробная у нее... Барыня!..

– Да будет тебе, Маша. И чем не барыня? Полковница.

– В каком таком полку у нее муж-то полковником? Побойся Бога, Катя! Певчий он, право слово, певчий! Вроде нашего Гаврюшки, только церковь побогаче.

– Он в царской церкви поет, зато и полковник. Государы-

ня их всех любит и жалует, иному и дворянство дает.

– Вон у Марковны прежний хозяин был – полковник! Руку на войне потерял! А этот – тьфу!

Маше не нравилось в соседях многое. И то, почему живут на Петербургской Стороне, коли такие знатные персоны, – тоже. Знатные-то на Васильевском, на Елагином строятся нынче. И то, что смущает полковник своим ангельским голосом понапрасну...

А более всего – радостный вид бездетной хозяйки.

Дожив до двадцати шести годков и не родив ни одного младенчика, нужно отречься от нарядов, повязать черный плат и по церквам, по обителям вымалывать себе, грешной, чадо. Так искренне полагала Маша, потому что и бабка ее выходила замуж с намерением рожать детей, и мать, да и она сама, и намерение свое они исполняли честно. Мужей же любили постольку, поскольку без тех были бы невозможны дети, и в разумных пределах, любовью своей ни в коем случае не обременяя.

А молодая соседка, очевидно, любила мужа так, как полагалось бы любить ребенка, – со всем пылом души. Довольно было поглядеть, как она встречает его, как выбегает на крыльцо и ждет не дождется – когда обнимет!

Это было даже смешно замужним женщинам, вроде Кати с Машей, и потому о семействе Петровых немало сплетничали на окрестных улицах.

– А не тот ли это Петров?... – вдруг спросила гостья,

чьей-то кумы кума, попавшая к Машинной двоюродной сестрице по какому-то делу и оставленная ужинать. На следующий день Маша уже, веселясь, рассказывала Кате: полковник-певчий в шашнях замечен, и с кем! Звать ее – Анна, на французский лад – Анета, а на самом деле – та Анютка, которую без матери растил вдовый пономарь соседней Матвеевской церкви... И полагал пономарь, что ему повезло, когда устроил единственную дочку в школу господина Ландэ, что на Миллионной улице. Ведь она уж и в тринадцать лет с кавалерами перемигивалась, что же дальше было бы? А там – присмотр, строгость. И у государыни на виду – особенно те, кто к русской пляске больше способны.

Танцоры и танцорки чем дальше – тем больше власти в театре забирали. Вот уж и придворные кавалеры стали их чуть ли не за равных почитать. Вот уж девицы вообразили, что могут с кем угодно махаться! А люди-то все видят, все примечают! И то, что повадилась Анета к господину Сумарокову в гости ездить. И как-то все так выгадывать, чтобы разом с полковником Петровым.

Катя про все это слыхала, да только веры не давала, потому что собственными глазами видела, как полковник Петров свою полковницу обнимает. И она не хотела способствовать Машинным измышлениям – как по доброте душевной, так и по обычной женской склонности к противоречию, особенно коли есть возможность сказать наперекор любимой подружке.

– Так что же, всем непременно рук-ног лишаться надобно? – возразила Катя. – Пойдем, поглядим лучше, какое там особенное зеркало. Ведь два с половиной аршина! Это ж отойти чуточку – и всю себя увидишь!

– Вот, вот, только ей и заботы – наряжаться да на свои наряды любоваться, – не преминула уколоть незримую полковницу Маша. Однако не пренебрегла приглашением – вместе с Катей пошла к калитке и даже зашла во двор, где выгружали из телеги заботливо обернутую в рогожи покупку. Два мужика понесли ее в дом. Зеркало роняло золотистую стружку из-под рогож, а Прасковья, бросая на такой непорядок сердитые взгляды, сопровождала хрупкую ношу, прямо кидаясь между ней и стеной, когда грозило опасное соприкосновение.

– Сюда, сюда несите, тут уставьте! – раздался сверху звонкий голос. – Даша, дверь придержи!

И, видать, случилось что-то забавное – две женщины наверху рассмеялись беззаботно.

– Успокой смятенный дух и, крушась, не сгорай! – пропела полковница отчетливо и чистенько, как поют люди, не только имеющие голос, но учившиеся пению. – Не тревожь меня, пастух, и в свирель не играй!

Маша схватила Катю за руку, всем видом показав – слушай, слушай же внимательно!

Этой песни соседки не знали – выходит, была новая, модная, и ее следовало перенять. Чем-чем, а модными песнями

в полковничьем доме можно было разжиться. Хозяин, Андрей Федорович Петров, водил дружбу с сочинителем, господином Сумароковым, а уж его песенки в Санкт-Петербурге только немой не напевал. Первой получала новинки придворная молодежь, пажи и кадеты, а несколько времени спустя всякий капрал мог пропеть о любовном страдании безутешного пастушка.

– Мысли все мои к тебе всеминутно хотят; сердце отнял ты себе, очи к сердцу летят! – радостно заливалась немудреной песенкой полковница.

– Я потом попрошу слова списать, – пообещала Катя.

– И для меня тоже, голубушка моя, – тут Маша не выдержала и снова съязвила: – Ишь, замужем – а такие песенки на уме! Другой заботы у нее нет! Деток бы завела – и не до песен бы стало.

– Да что ты разворчалась! – прикрикнула на нее Катя. – Иззавидовалась, что ли?

– Помяни мое слово – не к добру такое веселье, – сказала подруга и явно собиралась добавить что-то мрачное – да и замерла с полуоткрытым ртом.

Она вдруг ощутила присутствие этого «недобра», смутилась и поняла, что нужно бежать с полковничьего двора без оглядки, пока то, что нависло над домом, над растущими у стены кустами синели, даже над лошадью и телегой, на которых прибыло зеркало, не задело и ее ненароком...

– А что мне на ум вошло! – заранее веселясь, рассказывал Александр Петрович. – Век не догадаешься!

И, желая подтвердить слова, копался на заваленном рукописями столе.

– Оду новую затеял? – спросил Андрей Федорович. – Брось! Твои песни лучше од. Вон и Анета с Лизетой подтвердят.

– Нам до од мало дела, – выглянув из-за веера, сказала хорошенькая Анета. – Вот коли ты, сударь, мне в балетном представлении роль сочинишь – это будет лучше всего!

Обе прелестницы, танцорки недавно открытого публичного театра, в его директоре, господине Сумарокове, души не чаяли. Писал-то он для театра трагедии, но после каждого увесистого и слезливого действия полагалось давать и небольшую комедию, и танцевальный дивертисмент. Или же танцевальную пьесу – про Амура и Психею, про суд Париса, про рождение Венеры. И, понятно, Анете хотелось быть как раз Психеей или Венерой, а не одной из дюжины нимф с гирляндами.

– Да как же сочинять-то? – развеселился Александр Петрович. – Ногам слов не полагается! А какие тебе антраша отбивать – это пускай мусью Фузано придумывают, на то его из Италии выписали.

– Этот придумает! Такую прыготню развел... – изъявила неудовольствие товарка Анеты, полненькая, но с поразительно стройными ножками Лизета. – И вертеж непрерывный, и суета бестолковая, а прежней тонности в танце уж и нет.

– Тебе бы все в менюэтах плыть, как при покойной государыне, – сделал легонькое такое внушение Александр Петрович. Намекнул, что ему более по душе новые итальянские веяния.

Гости несколько обиделись и укрылись за веерами. Андрей Федорович, скосив взгляд, видел только верхушки напудренных причесок, а о чем перешепнулись – не услышал.

Вольно же им обижаться, подумал Андрей Федорович, Сумароков дело говорит. И еще раз глянул – и встретил мгновенный взгляд Анеты.

Не первый это был взгляд такого рода...

К вниманию прелестниц Андрей Федорович привык – даже не обязательно было даме видеть его лицо, хватало услышать голос, чтобы возникали любопытство, тяга, прочие нежные чувства. Но Анета, бойкая, норовистая, что видно было и на сцене, но Анета!..

Как он притянул ее на незримой ниточке своего волшебного голоса, так она приковала его взгляд своим танцем. И тут уж ничего не поделаешь – дал ей Господь говорящие руки, говорящее лицо, говорящие глаза... Если бы он для нее оставался лишь голосом, а она для него – далекой фигуркой на разубранной сцене, было бы лучше для обоих. Но она са-

ма искала встречи, и то, что брала с собой подругу, никого не обманывало.

Потому-то на душе у Андрея Федоровича было смутно.

Женившись смолоду и искренне любя жену, дожив примерным мужем до тридцати лет, уж настолько примерным, что даже батюшка на исповеди перестал про стыдное спрашивать, он сперва честно считал, потом принялся себе втолковывать, что его с Анетой двусмысленные беседы – лишь принятое в свете маханье, и, коли на то пошло, ведь не он за ней, а она за ним машет...

– Ты Лукиановы беседы читал? – спросил Александр Петрович. – Так я то же самое задумал на русский лад написать.

– Римские разговоры – на русский лад?

– Ну, не совсем на русский... – Александр Петрович, гонясь за метким словом, даже прищелкнул пальцами, но слово не шло на ум. – Для нашей словесности разговоры мертвых...

– Я от тебя падаю! – воскликнула Анета. – Вот ты уж и в разговоры с мертвецами пустился!

– Не я – Лукиан! Вот представь – померли господин со слугой, на том свете очнулись, а еще того не разумеют, что они...

– В раю, что ли? – спросил Андрей Федорович.

– В аду! – поправила Анета. – У вас, у сочинителей, все господа нехороши. Куда же господину, как не в ад? А слуга – за ним.

– Да то-то и оно, что у Лукиана не рай и не ад, а Елисейские поля, – объяснил Александр Петрович. – Там, поди, иного дела душам нет, кроме как беседовать. Или вот я задумал, как там медик со стихотворцем встречаются...

– Куда как ты славен, монкьор! – перебила Лизета. – Да ты уморил меня!

И расхохоталась зазывно.

Анетина подружка всячески показывала, что неравнодушна к господину Сумарокову. Он подозревал, что на решительный приступ она не ответит отказом, но воздерживался – танцовщица жила с неким графом, который, проведая, распорядился бы попросту – подкараулить господина сочинителя поздно вечером да и попотчевать палками, дабы впредь был умнее.

– Ты, друг мой, ври, да не завирайся, – серьезно сказал Андрей Федорович. – Нам с тобой Елисейских полей не полагается.

– Да будет тебе проповедовать! Никто у нас нашей православной веры не отнимает, и сочинительство ее не поколеблет. Вон ты про Амура и про Венеру поешь – так что же, это грех? А наутро ты уж в храме Божьем на литургии поешь – так и то ведь не подвиг! Тебе за твое церковное пение деньги платят.

Осадив таким образом Андрея Федоровича, Александр Петрович продолжал толковать о сатире, которую он преподнесет любезной публике под видом разговоров с того света.

– А кой час било? – вдруг некстати спросила Анета, встала и пошла к высоким стоячим часам, колыхая серебристо-серой, затканной серебром верхней юбкой. Стан, вырастающий из юбки, был как тростинка, и она это прекрасно знала.

Когда она подняла тонкую руку и, балуясь, прокрутила стрелку, соскользнули длинные, в четыре яруса, кружева, которыми от локтя продолжался рукав, и было в голой руке что-то куда более соблазнительное, чем в полуоткрытой груди, внимание к которой привлекали большой розовый бант и еще слева, словно вырастая из-за кружев, маленькая, искусно сделанная из шелка роза.

– И точно, пора нам! – Лизета встала. – Андрей Федорович, мне к Сытному рынку подъехать надо, я тебя подвезу.

Танцорка гордилась каретой, в которой ее катали по графскому распоряжению.

Андрей Федорович несколько растерялся. Он чуял подвох – сейчас они окажутся в тесной карете, втроем: Лизета, которой тут же взбредет на ум выставиться в окошко и любоваться городскими видами, а более – заставить мимохожий люд собой любоваться, Анета и он. Трясая карета способствует шалостям...

– Так уж сразу? – спросил Андрей Федорович. И поглядел на приятеля – не догадается ли тот удержать?

– Мы и к концерту не готовились, – пришел на помощь Александр Петрович. – Через два дня, и вся надежда на тебя, мой друг. Только тебя и хотят видеть!

Он сел к клавесину весьма основательно – пусть танцорки видят, что сейчас кавалеры займутся делом.

Александр Петрович прекрасно видел всю облаву на полковника Петрова. Эти проказы театральных девок его развлекали, будь он на месте Андрея Федоровича – пожалуй, что и принял бы авансы увлеченной Анеты. Анета, в отличие от подруги, сейчас была свободна. А также белокура, голу-боглаза и вертлява, порой – весьма соблазнительно вертлява. Да и странно было бы, если бы театральная девка не владела таким мастерством...

– Итак?...

– Любимую, любимую! – потребовала Анета.

– Будь по-твоему, сударыня. – Когда это ни к чему не обзывало, господин Сумароков был со всякой прелестницей галантен.

Он поддернул обшлагаи кафтана, в три ряда отделанные широким золотым галуном, и свисающие кружевные манжеты, вознес над клавишами крупные руки и выждал несколько. Ему хотелось поймать веселое вдохновение, необходимое солдатской песне, и это произошло.

– Прости, моя любезная, – несколько фальшиво, но с воодушевлением начал Александр Петрович после небольшого проигрыша. Полковник Петров в комическом ужасе схватился за уши, а Лизета, любившая хорошее пение, замахала на исполнителя сложенным веером, дорогим, французским, из слоновой кости и шелка, с блестками и кисточкой.

– Ну уж нет! – воскликнул Андрей Федорович. – Сначала, сначала, сударь мой!

И он запел, отбивая такт по крышке клавесина:

– Прости, моя любезная, мой свет, прости, мне велено на-  
завтрее в поход идти!..

– Неведомо мне то, увижусь ли с тобой, – подхватила Ли-  
зета, и продолжали они уже вдвоем:

– И ты хотя в последний раз побудь со мной!

И точно, что голос полковника Петрова вносил в женские сердца смятение. Пока он говорил – Анета еще держала себя в руках, стоило запеть лихую песню – так и рванулась к певцу.

Она быстро обошла клавесин и встала так, чтобы видеть его лицо, его глаза.

– Когда умру, умру я там с ружьем в руках, разя и защищаясь, не зная, что страх, – весело пел Андрей Федорович, проникаясь бесшабашным задором и песни, и диктующей ее любви. – Услышишь ты, что я не робок в поле был, дрался с такой горячностью, с какой любил!

Анета держала веер, как дуэлянт – шпагу, целясь Андрею Федоровичу пониже пояса. Он знал это слово из языка модниц – веер говорил «ты можешь быть дерзким, сударь». Вдруг она полностью раскрыла свое оружие. Такое решительное признание в нежной страсти только уже состоявшиеся любовники, пожалуй, позволяли себе на людях.

Андрей Федорович, который не мог петь так, чтобы не

верить в смысл слов, было ли это в личных покоях императрицы, на концерте для особо избранных или в храме, где певчим выдавали ноты, переплетенные в серебряные доски, неожиданно для себя всей душой устремился к Анете. Это было лишь мгновение, потому что дальше песня делалась шуточной, но оно было, и Анета уловила его, и восторжествовала.

У него же внезапно закружилась голова, словно бы легкая дурнота им овладела – да тут же и отпустила. Такое уже было сегодня с утра – но оказалось списано на бессонную ночь.

Потом Андрей Федорович спел еще несколько песен, уже с нотами, потому что они были новые, недавно сочиненные, а он хотел на концерте блеснуть свежим репертуаром. Схватился спорить с Александром Петровичем о том, что иные слова, рядом поставленные, не поются – хоть тресни, и поэт сам, своей рукой, своим пером, поправил стихи.

– Вот и все, пожалуй, – сказал он. – Благодарствую, друг мой. Перед концертом еще к тебе заеду. А велика подать ну хоть брусничной воды, с погреба, ледяной.

– Жар прошиб? – Александр Петрович хлопнул в ладоши. – У меня вроде прохладно.

– А у меня с утра дышать нечем, солнце разбудило да и принялось свирепствовать. До сих пор тяжело. Так бы и покидал всю эту сбрую, да не ехать же через весь город в одной рубашке.

Лакей заглянул, услышал приказание, кинулся исполнять.

Очевидно, не одному Андрею Федоровичу было жарко, и сумароковская челядь отпивалась холодненьким – брусничная вода возникла сразу и была выпита с наслаждением.

– Так идем, что ли? – спросила Лизета, вставая и оправляя пышную свою робу, бирюзовую, шитую золотыми травами. В отличие от мужчин обе прелестницы больше бы маялись, не имей они возможности блеснуть тяжеловесными своими нарядами, а жару перенести – дело привычное.

– Да, душенька! – и Анета поглядела на Андрея Федоровича. Во взгляде было лукавое обещание, и он, невольно возбужденный от любовных песенок, поспешил к двери, придерживая у левого бока легкую шпажку с нарядным эфесом, и оказались они у портъеры одновременно, и Анета, через плечо послав господину Сумарокову прощальную улыбку, выпорхнула, а полковник Петров, плохо соображая, – за ней.

– А не написал бы ты, мой батюшка, песенки для женского голоса? – угодливо спросила Лизета. – Пляски эти новомодные не по мне, а спела бы не хуже кого другого.

– Я подумаю, – обещал господин Сумароков.

\* \* \*

– Неловко, право, – говорил Андрей Федорович, уже опомнившись, уже пытаясь извернуться. – Где Сытный рынок и где моя убогая хижинка? Я извозчика возьму!

– Как ты забавен! – отвечала Лизета. – Ты уморить меня

решился, право! Бесподобный болванчик! Не я же тебя везу, сударь, а лошади!

– Перестань, радость моя, шутить, это ничуть не славно, – добавила и Анета. – От таких рассуждений у меня делается теснота в голове... Ах, вели остановить!

– И точно, ты уже дома, – Лизета постучала в стенку, чтобы кучер натянул вожжи. – Лакея я не взяла, придется тебе, сударь, выйти из кареты и помочь Анете спуститься.

Лакеев Лизете и не полагалось – там, где она жила, было кому встретить и руку протянуть, а таскать с собой ливрейного слугу – много чести для театральной девки, так решил ее граф, и спорить она не стала – пока, во всяком случае.

Андрей Федорович вышел первым и предложил руку танцовщице. Она, манерничая, сошла со ступеньки – и тут кучер, явно получив приказ от хозяйки, ударил по лошадям. Карета помчалась. Болтавшаяся дверца захлопнулась сама собой.

Андрей Федорович резко повернул голову вслед карете – и перед глазами поехало...

Смех Анеты заставил его собраться с силами.

– Уж коли ты тут, сударь, так взойди, не побрезгай нашим угощеньцем, – поддельваясь под простую мешанку, пригласила Анета. – Да идем же, не кобенясь, сударь мой, прохожие смотрят!

Она ввела растерявшегося Андрея Федоровича в дом, где на третьем этаже занимала маленькую квартиру.

– Коли это шутка... – начал было он, уже сердясь, – так я обязан сказать...

– Тише, тише! – перебила Анета. – Вот сюда!

И поспешила вверх по лестнице, подхватив серебристые свои юбки достаточно высоко, чтобы явить взору мелькающие башмачки, модные, тупоносенькие, и белые щегольские чулки с вышитыми стрелками.

Андрей Федорович взялся за перила – в голове сделалось то, что Лизета назвала полуфранцузским словом «вертиж». Он подумал, что можно без ущерба для достоинства зайти и попросить напиток. А затем и убраться прочь, сославшись на важные дела. Как можно скорее!

Анета подождала его у самой двери. Кто-то шел сверху – и она, вдруг схватив за рукав, втащила свою добычу в квартиру, да так, что тесно прижалась грудью к зеленому кафтану.

Шустрая горничная выскочила в прихожую, присела, улыбнулась, наклонив набок головку в маленьком чепце, – и отступать стало некуда, Андрей Федорович не мог читать хозяйке мораль при горничной, выставляя себя в смешном свете.

– Идем! – Анета первой вошла в гостиную, маленькую, но премило убранную, с полосатыми креслицами и кушеткой, с консолями, уставленными фарфором, с прочим модным убранством. Тот, с кем она рассталась некоторое время назад, был щедр на подарки, вот только денег в руки пред-

почитал не давать.

Жар внезапно охватил Андрея Федоровича. Все еще не понимая причины этого жара и не греша на свое, до сей поры безупречное, здоровье, он попытался собраться с силами и дать вежливый, но твердый отпор искушительнице.

– Вот тут я живу, – сказала она. – Теперь ты будешь знать. Я не многих принимаю, но тебе всегда рада.

Сев на кушетку, она так расправила юбку, что заняла все место. А Андрею Федоровичу указала на кресло. Он ощутил внезапную слабость и сел.

– Анета, голубушка, нельзя ли брусничной воды? – спросил, как и собирался, полагая, что холодная вода непременно справится с жаром.

– Я велю Дуне оршаду подать. А что? Неможется? – Анета забеспокоилась, живое, худенькое, по моде подкрашенное личико преобразилось тревогой.

– Нет, просто пить охота.

Но Анета насторожилась. Она вспомнила, что и у Сумарокова Андрей Петрович был ей чем-то странен...

– Ты в лице переменялся, батюшка мой! Погоди-ка! – она вскочила и вышла.

Дуня, горничная, наперсница многих ее проказ, подслушивала у двери. Анета не возражала – Дуня столько уж раз благодаря этой затее вовремя приходила на помощь, что впору было ей за подслушивание еще и приплачивать.

– Что, барыня?

– Дуня, помнишь – тебя лихорадило? Я тебе травки заваривала? У тебя не осталось?

– А погляжу!

Тревога хозяйки перелетела к горничной – ее подвижная мордочка тут же отразила беспокойство, да еще увеличенное в несколько раз, чтобы и издали было видно: горничная служит не за страх, а за совесть.

– Воды вскипяти! – командовала Анета. – Салфетки приготовь!

Тут в комнате грохнуло. Словно бы кресло опрокинулось...

Обе разом втиснулись в дверь.

Андрей Федорович лежал на полу.

– Ахти мне, сознания лишился... – прошептала Дуня.

– Господи Боже мой, да что ж это за напасть?! – Анета уж была не рада, что заманила к себе красавчика-полковника.

Хозяйка с горничной опустились на колени, Дуня приподняла Андрея Федоровича и пристроила его голову у себя на плече.

– Ох, барыня, это поветрие такое гуляет! У соседей, у Шварцев, ребеночек так-то за сутки сгорел. За руку тяните!

– Так то – ребеночек...

Вдвоем они подняли Андрея Федоровича с пола и уложили на кушетку, потом мокрой салфеткой стали промокать лицо, приводя в чувство.

На салфетке остался покупной румянец – Андрей Федо-

рович, как почти все придворные, и волосы пудрил, и лицо подкрашивал. Но черные, домиком, брови были свои, как и длинные ресницы, и даже родинка на щеке, которую самая опытная кокетка сочла бы мушкой.

– Аксюша... – прошептал Андрей Федорович.

– Что это он?

– Жену зовет... Дуня, как же нам с ним быть?

– Погодите, барыня, настой сделаю, напоим. Придет в себя, по лестнице сведем, извозчика кликнем и домой отправим. А извозчику скажем – напился барин в стельку, чтобы не испугался.

– Не может же быть, чтобы он умер! – вскрикнула вдруг Анета. – Не может быть, Господи, не может этого быть!

– Вон у Шварцев ребеночек помер. Шварцша все думала – травками отпоит, и за доктором не послала.

– Поди, поди! Завари наконец травки!

Анета выпроводила Дуню и стала делать то единственное, что могла, – менять мокрые салфетки на лбу у Андрея Федоровича.

Он звал Аксюшу, то тихонько, то, сердясь, повышал голос, и Анета отвечала:

– Да, да, миленький, да, жизненочек, я тут...

Он ловил руку жены – и Анета давала ему свои пальцы, которые он сжимал так, что от колец делалось больно.

Вошла Дуня с чашкой.

– Придержите его, барыня, я поить буду.

Андрея Федоровича усадили. Пить он не пожелал – только понапрасну залили горячим настоем камзол и кружевце на груди.

– Как же быть-то, Дунюшка? Он весь горит!

– За доктором бежать?

Они переглянулись.

Театральная девка много чего могла себе позволить, и если бы молва разнесла, что она имела в квартире троих любовников разом, одного в шкафу, одного под постелью, и третьего – в постели, это лишь придало бы ей блеску. Но умирающий?...

Многие знали, что полковник Петров по душе танцовщице, да все никак не соберется ответить на ее шаловливые авансы. Лизета первая бы рассказала всему свету, как злилась Анета на отсутствие взаимности. И вдруг он, испив всего-навсего брусничной водицы, падает без чувств в Анетином доме...

Анета, как умела, послушала пульс Андрея Федоровича. Биение жилки ничего ей не сказало.

– Что же это за хворь такая?! – воскликнула она. – Господи Иисусе, спаси и сохрани!

В гостиной образов не было, а лишь в спальне. И перекреститься-то танцорке было не на что...

– Воля ваша, а я за доктором побегу, – решительно сказала Дуня. – Ну как помрет он тут у вас – всю жизнь, барыня, расхлебывать будете – не расхлебаете!

– Нет, нет, погоди...

И точно – открыл глаза Андрей Федорович и посмотрел вполне осмысленно.

– Где я?...

– У меня, Анета я, – Анета склонилась над ним, чтобы он лучше разглядел лицо.

– А-а... Ты?...

– Ну да, я, ты ко мне в гости зашел, и тебе плохо сделалось. Сейчас Дуня доктора приведет, у нас по соседству немец живет, он тебя посмотрит...

Андрей Федорович прошептал невнятное и, видя, что его не поняли, повторил. Анета с Дуней наклонились и расслышали отдельные звуки.

– В силе? В какой силе?...

– Василий? – догадалась Дуня.

Не сразу сложились у них слова «отец Василий», а когда стало ясно, что больной требует не врача, а священника, – обе женщины впали в ужас.

– Погоди помирать, жизнечек, сейчас доктора приведем, сейчас тебе полегчает! – Анета повернулась к Дуне. – Да беги же, дурища! Не то и впрямь помрет!

Дуня беспрекословно выскочила из гостиной.

Анета осталась наедине с человеком, которого – и двух часов не прошло – любила веселой, дерзкой, сладостно-лихой любовью. Только что она успела насладиться мгновением победы – когда, втаскивая избранника в прихожую, успе-

ла прижаться к нему и дала волю стремительным предчувствиям близости. Она и сейчас его еще любила – но из желанной добычи он сделался тяжким грузом, бедой, которая еще неизвестно как отзовется на будущем.

Анете было страшно.

Андрей Федорович, снова утратив сознание, стал метаться, потом стих.

– Господи, да что же это за кара такая, что за наказание?! – взмолилась Анета. Спрашивала она не об Андрее Федоровиче, а о себе, потому что уж она-то никак не заслужила такой неприятности.

И, чтобы спасти от неприятности себя, она стала молиться, повторяя известные с детства слова, потому что спасти лежащего перед ней в беспомощности мужчину должен был доктор, имеющий прийти с минуты на минуту.

В комнате между тем стало темнеть. Анета встала с кушетки и зажгла две свечи.

Никогда еще она не испытывала такого одиночества, как наедине с любимым. Но был ли этот человек сейчас любимым? Того она уже не знала. Больше всего на свете она желала, чтобы этот день случился заново – и тогда уж она не стала бы сговариваться с проказливой Лизетой, нет, она даже в сторону полковника Петрова не взглянула бы, она бы и к Сумарокову не поехала, она бы и из дому не вышла, а сидела на кушетке и шила нарядный ночной чепец, начатый еще на прошлой неделе.

– Что, барыня, как он? – раздался взволнованный голосок.

– Ах, Дуня! – словно к единственной сестре, бросилась Анета к горничной. – Где ты пропадаешь?! А герр Гринфельд?...

– Его к Петуховым позвали, там хозяйка никак не разродится, бабка от нее уж отступилась. Я другого привела.

Полный мужчина вошел в гостиную и сразу направился к больному.

– Светите мне, – сказал он вроде и по-русски, но как-то не совсем.

Анета поднесла двусвечник к самому лицу больного. Доктор посмотрел, оттянув веко, глаз, потрогал лоб, проверил пульс.

– Как давно это состояние... с ним есть?

Анета с Дуней наперебой объяснили.

– Достаточно. Это плохое состояние. В городе болезнь, прибирает за день, за два. Это она, – сказал доктор. – Молодые люди, только вчера здоровые, сегодня – без памяти. Завтра – аминь.

– Ах ты, Господи! А не заразно? – первой догадалась спросить Дуня.

– Это один Бог знает. Я напишу записку аптекарю. Но надо позвать батюшку. Надо – исповедь, причастие, соборование. Состояние плохое.

– Да что же с ним делается-то? – закричала Анета. – Что это за хворь такая, чтобы сразу соборование?!

Почтенный пожилой немец в аккуратном паричке, в черном кафтане без излишеств, точно такой, как положено быть доктору, и руками развел совершенно по-докторски.

– Состояние, сударыня...

– Барыня, а ведь плохо дело-то! – сообразила Дуня. – А ну как он у нас тут помрет без покаяния? Ведь – грех!

– Не может быть такого состояния, не может быть такой болезни! – твердила Анета. – Днем же еще песни пел! Нет таких болезней, чтобы за три часа умирали!

– За визитацию заплатить надобно, – подсказала Дуня. – Да не кричите, соседи всполошатся!

Анета, как теперь вздумали говорить – машинально, достала кошелек. Доктор тем временем спросил перо, бумагу, и точно – написал что-то неразборчивое для аптекаря.

Ушел, повторив, что медицина велика и премудра, но пусть посылают за священником.

– Как же мы батюшку-то сюда позовем? Что я ему скажу? – Анета была в поразительной растерянности. Она, самая бойкая на театре, вострушка из вострушек, впала в страх. Батюшка наверняка полюбопытствует, кто сей раб Божий, как сюда угодил, повыспросит да и скажет: «Не моего прихода!» А потом что?

– Барыня, а барыня! Где этот кавалер живет-то?

– На Петербургской Стороне... – Анета задумалась, припоминая. – Как ехать по Большой Гарнизонной, так где-то, не доезжая Бармалеевой... Или от Сытина рынка по Барма-

леевой... Лизка однажды его домой подвозила, рассказывала – домишко невзрачный, на женино приданое куплен, хороший-то смолоду был не по карману, а там приличный человек и не поселится... И никак они оттуда не съедут...

И ахнула Анета негромко, осознав, какую чушь городит над постелью умирающего.

– Барыня! Мы вот что сделаем – я до Гриши добегу, приведу его, извозчика возьмем – да и отвезем кавалера к нему на квартиру, покамест жив! Гриша его береженько вниз снесет и усадит – а?... А дома к нему и батюшку позовут – а?... И пусть там его хоть исповедуют, хоть соборуют!..

– Ах, делай как знаешь!.. Только, ради Бога, скорее!..

Анета испытала внезапное и острое счастье – нашелся кто-то, согласный справиться с этой бедой, избавить перепуганную женщину от нехстати помирающего избранника!

Но нужно было еще дожидаться, пока Дуня сбегает, бросит камушек в окошко, вызовет одного из своих поклонников, которых у нее было с полквартала, уговорит, найдет извозчика...

Все это время нужно было провести наедине с Андреем Федоровичем.

– Потерпи... – сказала Анета. – Потерпи, миленький! Потерпи еще немножко!

И уговаривала продержаться еще хоть с полчасика – а там уж он будет дома, у родных, там что-нибудь придумают – и все еще, может быть, обойдется!..

– Сюда, Гришка! – велела Дуня, без церемоний вводя в гостиную здоровенного, на две головы выше нее, детину. – Бери барина в охалку, тащи вниз, я двери придержу!

И, пока детина беспрекословно сгребал Андрея Федоровича с кушетки, бросилась к хозяйке:

– Барыня, повезло – карету сговорили! Только кучер денег просит – ему, вишь, уже распрягать да в стойло ставить, а он нас повезет. Так коли барин заметит...

– Вот кошелек, плати кому хочешь и сколько хочешь! – приказала Анета.

– А как зовут кавалера-то? Надо же знать, чей дом спрашивать!

– Полковник Петров он, так и спрашивайте. Он там, поди, один полковник на всю Петербургскую Сторону и есть!

– Ну, с Божьей помощью!..

Детина вынес слабое, жаркое, безвольное тело. Дуня, подхватив уроненную треуголку, кинулась следом.

Анета поспешила в спальню, к образам.

– Господи, дай довести живым! – взмолилась она. – Не допусти, Господи!..

В этот миг страх отступил – и Анета ужаснулась происходящему.

Никто бы не пожелал себе и ближнему смерти без покаяния – без осознания всей состоявшейся жизни, без напутствия священника. На самый крайний случай была «глухая исповедь» – отпущение грехов давалось тому, кто душой уже

находился далеко, и лишь плоть длила существование. Анете страх как не хотелось просить Бога, чтобы дал Андрею Федоровичу эту милость, – и она просто умоляла о продолжении жизни, все еще надеясь на лучший исход. Анета была молода, и Андрей Федорович был молод, и для нее казалось невозможным, чтобы тело, подобное ее сильному, гибкому, закаленному танцевальными упражнениями телу, было в одночасье разрушено яростной болезнью.

Посреди мгновенно родившейся молитвы она замерла – записка! Бумажка к аптекарю, которую начеркал доктор-немец! Весь домашние полковника Петрова наверняка сразу же пошлют за другим врачом – а поди, найди хорошего на Петербургской Стороне!..

Анета выбежала в гостиную, схватила со стола записку и поспешила вниз по лестнице.

Она успела – карета еще не тронулась. Анета ухватилась за дверцу, другой рукой вздернула юбки – и влетела во мрак. Взвизгнула, испугавшись, Дуня.

– Едем, едем!..

– Да вы-то, барыня, куда же?...

Карета покатила. Танцовщицу тряхнуло, она невольно села на переднее сиденье. В оконце пробилося немного лунного света – и она увидела на заднем сиденье Андрея Федоровича – не увидела, угадала, – потому что голова сидящего как-то неестественно клонилась набок. Рядом, держа его в охапке, сидела Дуня.

– Записку отдать надо, что доктор написал.

– Так я бы и отдала!

Умница Дуня решила всю тяжесть этой ночи вынести сама – доставить больного к его семье, наврать несурaziц, выгородить хозяйку, которая по молодой дурости заварила такую кашу. А хозяйка – вот она, ворвалась и сидит, сама перепуганная своей решимостью.

Андрей Федорович прошептал нечто совсем уж беззвучное, стал шарить рукой.

– Тут я, тут! – Анета взяла его за руку, но держать было неловко, и она соскользнула на колени.

Может быть, только в этот миг и только этого, случайного в ее жизни, человека она за весь свой бабий век и любила искренне, пламенно, всей душой.

Но миг короток, человек смертен, пламя неповторимо.

\* \* \*

Велик Божий мир.

И над ним – Божье величие.

Ночь и тишина – помощники в постижении. И проще всего – подняться над землей и окинуть ее сверху взором. Не так это безумно, как кажется, если положиться на внутренний взор души.

Вот раскинулся мир, исчерченный вдоль и поперек путями земными, вот вспыхивают слабые или яркие искры – это

молитвы, порой невольные, возносятся. Вспыхивают и сгорают слова, но высвобождается из пеплом осыпавшейся оболочки подлинная суть молитвы – и летит, летит!..

Расстояния сверху ничтожны: разведешь пальцы, и между ними умещаются города. Если прищуриться – разглядишь живые точки.

Такая вот точка движется, еле ползет по незримой линии – между двух черных пятен с ровными краями вроде как тоненький просвет. По нему не написано вдоль, что это Большая Гарнизонная, и нет на черных пятнах белых мелких буковок «слобода Ямбургского полка», «слобода Копорского полка», «слобода Белозерского полка». Тому, кто глядит сверху, это ни к чему. Это знание, не имеющее ни малейшего значения. Точка медлит, останавливается, опять движется, и нет в ее перемещениях ничего такого, за что стоило бы ее выделить из множества других подобных точек – из которых, собственно, и складывается ночной живой мир. И другие тоже вспыхивают, испуская сгорающие на лету слова, и движутся дальше невредимые, и каждая имеет свою цель.

Так видится сверху карета, которая несется по ночной улице неведомо куда, потому что нет прохожего – спросить дом полковника Петрова.

Кучер и Гриша, сидящий с ним на козлах, просят Бога поскорее послать человека, знающего, куда сворачивать.

Дуня просит – чтобы благополучно избавиться от тихо бредящего человека.

Анета просит – чтобы только жил, прочее значения не имеет.

Кучер боится, что его самовольная благотворительная отлучка выйдет ему боком. Гриша просто намаялся за день и хочет спать. Дуне нужно доставить домой барыню в целости и сохранности – барыня, хоть и театральная, но добрая, не скупая, такую хозяйку нужно беречь, хорошее место найти нелегко. Анета твердит, что нельзя умирать тому, кого она с такой внезапной силой любит.

И навстречу выходит из переулка подвыпивший человек со страшным черным ликом. Кучер и Гриша сперва от такого дива шарахаются, потом понимают – это отставной придворный арап, доживающий век на берегу Карповки. Он знает, где тут найти и придворных истопников, и отставного камер-музыканта Подрезова, и дом государынина певчего полковника Петрова ему тоже известен.

Карета движется в указанную сторону.

Так чья же молитва была услышана?

Одна – из всех?...

\* \* \*

– Гришка, беги, зови людей!

Детина соскочил с козел и постучал в калитку.

В доме полковника Петрова не спали – очевидно, знали, что в этот вечер у него нет ни службы, ни концерта, и бес-

покоились – куда запропал. К калитке торопливо подошла большая женщина в платке, с ней – маленький мужичок с фонарем.

– Барина принимайте, – сказал Гриша и добавил со всей откровенностью двадцатилетнего верзилы: – Насилу довели.

Женщина вышла на улицу, дверца кареты распахнулась, Гриша встал на подножку и начал выволакивать Андрея Федоровича. Дуня помогала, как могла.

Анета забилась в самую темную глубь.

Любовь оборвалась на взлете. А ведь даже поцелуя – и того не было, хоть единственного, чтобы в памяти сохранить!

И могла же, могла целовать милое лицо всю дорогу, всю долгую дорогу! Так нет же, стояла на коленях и бормотала, так что переплелись в узком пространстве два бреда предсмертно-любовных...

По дорожке от дома спешила женщина. Анете не требовалось подсказки, чтобы догадаться, кто это. Женщина была одета – значит, не ложилась, ждала. Ждала, любила, верила, тревожилась и надеялась, глупенькая, силой своей любви отвести беду, призвать Андрея Федоровича под супружеский кров!

Почему так бессильна любовь, подумала Анета, почему ее сила так мгновенна, а коли чуть продлится – то и падает в полнейшее бессилие?

Гриша как раз уже стоял у калитки с телом на руках.

– Туда неси, туда, – говорила большая женщина.

Та, что подбежала, приникла к Андрею Федоровичу, стала целовать.

– Отойди, барыня, мешаешь, – сказала ей большая женщина и, взяв за плечи, почти без усилия даже не оттащила, а словно переставила.

Дуня, выйдя из кареты, подошла.

– Совсем плох, доктор-немец велел батюшку звать, как бы беды не вышло, – сказала она, обращаясь к большой женщине, которая тоже была прислугой и тоже не имела права предаваться скорби, потому что кто-то и дело делать обязан.

– Как же он это, Господи? – спросила незнакомая товарка.

– В одночасье сгорел.

Они обменялись взглядами и обе мелко закивали.

Смерть Андрея Федоровича с этого мига для них состоялась.

И тут из кареты внезапно выскочила Анета. Она все глядела в спину Грише, уносившему Андрея Федоровича в незнакомый дом, и видела только эту спину, совершенно не замечая жмушующую сбоку фигурку с тонким станом, в светлом летнем фишбейновом платье.

В руке у танцовщицы была зажата докторская записка – по сути, уже бесполезная, но сейчас она была единственной ниточкой, способной привязать Андрея Федоровича к жизни. Совершенно не сообразив, что кончик ниточки можно передать в надежную руку тяжеловесной женщины в плат-

ке, Анета побежала следом за Гришей, и забежала вперед, и протянула скомканную бумажку:

– Вот... Доктор велел принимать... К аптекарю послать...

– Да, да... – принимая записку, но плохо понимая ее смысл, отвечала жена Андрея Федоровича.

И тут обе женщины узнали друг друга.

\* \* \*

Когда обнаружилось, что сестра пономаря церкви Святого Матвея знакома с хозяйкой мелочной лавочки в Гостином дворе, а та, в свою очередь, – кума вдове придворного конюха Авдотье Куртасовой, которая уж не первый год надзирает за воспитанницами танцевальной школы господина Ландэ, – у Анютки глаза тут же загорелись. Самая бойкая и вертлявая среди ровесниц и самая отчаянная – росла без матери, она в тринадцать лет уже затосковала на Петербургской Стороне. Ее душа искала ветра и простора.

Анютка подольстилась к тетке, явила кротость и послушание неопишуемые и променяла вольное житье на утомительные упражнения. Но как раз взаперти-то она и не тосковала. Перед ней раскрывалось точно такое будущее, как в апофеозах спектаклей – когда вдруг раскрываются небеса, и меж колонн и облаков принимаются летать греческие боги.

Главное же – она, как ей казалось, покинула навеки Петербургскую Сторону, самое безнадежное в городе место. Лю-

бая окраина казалась предпочтительнее – поди знай, в которую сторону примется расти молодой город. А Петербургская была тем брошенным гнездом, откуда он вышел и принялся жить веселой, суматошной жизнью, оставив ее прозябать.

Из мира почти деревенского, с огородами и близлежащими полями, с узкими и немощеными улицами, с переулками, которые по сырой петербургской погоде порой за все лето и не просыхали, так что в лужах жили утки, с жалким населением – по большей части отставным, Анютка мечтала попасть и попала в мир торжественно-прекрасный, с каменными чудесами, с великолепными, недавно построенными мостами, с каретами и статными всадниками в мундирах.

Она осваивала танцевальную науку с восторгом – было обещано, что воспитанницы и воспитанники будут танцевать перед самой императрицей Елизаветой Петровной. И это свершилось. Анютка сподобилась одобрительной улыбки государыни и ласкового слова!

Но теперь она уже звалась Анетой, знала немало слов по-французски и по-немецки, умела нарядиться и накраситься, в ее сундуке появились шелка и бархаты.

Благополучие несколько успокоило Анету, она даже стала навещать отца (раньше все ссылалась на запреты школьного начальства). На Петербургскую Сторону Анета выбиралась, когда Лизета имела возможность ее привезти или забрать, чтобы соседи увидели красивую карету с расписными бока-

ми и здорового кучера.

Однажды, торопливо всходя по откидным ступенькам, она краем глаза увидела знакомое лицо. Вспомнила имя – Аксюша, то ли племянница отставного камер-музыканта, то ли еще какая родня. Анета помнила лишь, что Аксюша была на год или на два старше нее, а дружбы они не водили. Она даже не была уверена, что Аксюша жила на Петербургской Стороне постоянно, помнила только – выдалось лето, когда они, совсем маленькие девочки, несколько раз ходили вместе в лесок по ягоду. Теперь бывшая соседка была хорошо одета и на вид – довольна и весела, очевидно, замужем. Аксюша тоже, вскинув темные глаза, узнала Анету. Несколько удивилась, но приветственная улыбка уже возникла на губах.

Обе спешили – да и говорить, собственно, было не о чем. И вот – встретились.

\* \* \*

Мужичок с фонарем, поспешая впереди осанистого отца Василия, норовил светить батюшке под ноги – хоть она и Большая Гарнизонная, а ночью на ней черт ногу сломит.

Отец Василий на ходу оглаживал голову и бороду. Дело было привычное – поднятому среди ночи с постели, идти исповедовать и причащать умирающего. Дьячок нес за ним необходимое, в том числе и большое рукописное Евангелие.

У калитки ждала со свечой Прасковья.

– Сюда, батюшка, сюда... – повторяла она, как будто отец Василий впервые был у Петровых.

– В спальне, что ли? – спросил священник.

– Да, батюшка, да...

Он взошел по лестнице и встал в дверях.

– Отойди-ка, Аксюша, – попросил стоявшую перед постелью на коленях женщину. Она испуганно взглянула на строгого батюшку.

– Надо, Аксюшенька, – обратилась к ней из-за плеча священника Прасковья. – Не ровен час... а я уж Дашу к аптекарю послала с бумажкой...

Аксюша затрясла головой. Всем видом она давала понять – ни за что не отойдет от мужа, хоть при ней исповедуй.

Он уже был раздет, лежал под одеялом, а нарядный его кафтан, и зеленый камзол, и красные штаны, и белые чулки с башмаками – все это было брошено в углу, жалкое, как скомканные крылышки случайно прихлопнутого мотылька.

Мокрыми салфетками Анета и Аксюша спереди стерли пудру с волос Андрея Федоровича, и теперь стало видно, что они – темно-русые, завитые букли распрямились, и длинные пряди раскинулись на подушке, заползли на шею.

– Ну-ка, встань, сударыня, – приказал отец Василий. – Потом хоть до утра с ним сиди, а сейчас – пусти!

Прасковья, поставив свечу на уборный столик, наклонилась и силой подняла хозяйку.

– Веди ее прочь, – отец Василий шагнул трижды и навис

над Андреем Петровичем. – Давно он без памяти?

– Таким и привезли, – ответила Прасковья.

Батюшка склонился над ним, замер, склонился еще ниже.

Выпрямился.

– Веди, веди ее прочь!

То ли голос отца Василия невольно дрогнул, то ли Аксюшу осенило – но она кинулась к Андрею Федоровичу, распласталась по широкой постели, обхватила его руками и прижалась щекой к груди.

– Нет, нет! – заговорила она неожиданно громким и внятным голосом. – Сейчас Даша лекарство принесет! Отойдите, не троньте его!

Отец Василий поглядел на Прасковью и покачал головой.

– Твоя воля, Господи... Опоздали...

– Нет, нет, – продолжала утверждать Аксюша. – Какой вздор вы твердите, батюшка? Какой вздор? Сейчас принесут лекарство!

Отец Василий опять наклонился над постелью и неловко погладил женщину по голове.

– Встань, Аксюшенька, нехорошо. Пойдем, помолимся вместе...

– Я вам, батюшка, молебны закажу, сколько нужно, во здравие, Богородице, целителю Пантелеймону, всем угодникам! Господь не попустит, чтобы он умер! Это только злодеи помирают без покаяния! – убежденно воскликнула Аксюша. – Разве мой Андриюшенька таков? Да назовите, кто

лучше него, кто добрее него?!

И вдруг вспомнила, отшатнулась от мертвого мужа, протянула к нему тонкую руку с дрожащими пальцами:

– Разве он – грешен? – спросила неуверенно. – Нет же, нет, он меня любит, он не мог!

Отец Василий поглядел на Прасковью – теперь уж он решительно не понимал, о чем речь.

Но Прасковья не пожелала объяснять, что умирающего хозяина привезла в карете всем известная театральная девка Анютка.

– Обмыть сразу же нужно новопреставленного, – сказал отец Василий, – на полу, у порога, трижды. Поди, поставь воду греть. Соломы охапку принеси – подстелить.

Прасковья кивнула, но с места не сдвинулась.

Священник не знал, чем бы еще помочь потерявшим всякое соображение женщинам. Ни Аксюша не рыдала по мужу, ни Прасковья – по хозяину, а было в их лицах что-то одинаковое – точно время тянется для обеих иначе, гораздо медленнее, и не скоро слова отца Василия доплывут по воздуху от его уст до их ушей.

– Что же ты? – спросил Прасковью отец Василий. – Разве не видела, что с ним? Хоть бы отходную прочитать успели...

Даже не вздохнула покаянно Прасковья – а продолжала глядеть на Андрея Федоровича и все еще сидящую рядом с ним Аксюшу в светлом, глубоко вырезанном платье с тремя зелеными бантами спереди и, по моде, с шелковой розой на

груди.

– Обмывать будете – не забудьте Трисвятое повторять, – чувствуя, что уходить сейчас нельзя, и не понимая, как же достучаться до двух словно окаменевших женщин, говорил отец Василий. – Потом в новое оденьте. За родней пошлите – чтобы с утра ко мне пришли насчет отпевания. Да ты слышишь ли?!

– Да, – сказала вместо Прасковьи Аксюша. – Только этого быть не может, батюшка. Господь справедлив – и к злодею в тюрьму святого отца пошлет, чтобы злодей покался. И злодею грех отпустят! И злодею! Господь справедлив! Он моего Андрюшу так не накажет! Мы пойдем, батюшка, а вы его исповедуйте, соборуйте, причастите!

Она вскочила и устремилась было к двери, но вдруг схватила остолбеневшего священника за руку.

– Только поскорее, ради Бога!

И кинулась прочь, и простучали по лестнице каблучки.

– Беги за ней, дура! – крикнул Прасковье отец Василий. – Видишь ведь – с ума сбрела!

Прасковья громко вздохнула.

– За что Он нас так покарал? – спросила.

– На все Его святая воля, – отвечал отец Василий. – Кабы я знал!..

Катя прибежала к Маше спозаранку.

– У Петровых-то горе! – сообщила. – Хозяин ночью помер.

– Как так? – удивилась Маша, с самого утра уже причесанная и напудренная, хоть и не в платье, а в нижней юбке и платке, покрывающем грудь и плечи. – Вчера же я его видала – как он на службу ехал!

– Вчера видала, а сегодня и нет его! – Катя перекрестилась на образа. – Пойдем, узнаем, может, по хозяйству помочь надобно. Поминки собрать...

– Ты ступай, я следом.

– А что еще стряслось... – Катя, вдруг передумав торопиться, присела на скамью. – Отец-то Василий с причастием и соборованием опоздал. Пока пришел – а там уж мертвое тело...

– Ах ты, Господи!..

– Да...

Они все же вышли вместе, и пришли к дому Петровых, и увидели у ворот две кареты – понаехала родня. Стайка соседак стояла там же, перешептываясь.

– Прасковью выгнала-то...

– За что?...

– А поди пойми...

– А хоронить когда?

– Завтра, поди. Коли ночью помер – как дни считать?

– А до полуночи помер-то?...

Катя отошла в сторонку и Машу с собой повела.

– Как бы к Аксюше пробиться? – спросила она.

– На что тебе?

– Боюсь я за нее.

– Там найдется кому с ней сидеть.

Но и Маша поймала вдруг это словно висевшее в воздухе предчувствие «недобра». Она хмуро поглядела на соседку.

– Вот так-то и бывает, когда непутем любишь! Вдове-то о себе думать нужно. Повыть – да и успокоиться. А ей и неведомо что на ум взойдет!

– Помолчи ты, Бога ради!

По двору шла Прасковья, и сразу видно было – с распросами и не подступайся.

– Вот тоже, вдова нашлась... – шепнула неумемная Маша.

Катя только посмотрела на нее сердито.

Прасковья дошла до забора и словно только теперь поняла, что перед ней – преграда. Посмотрела направо, налево, будто ища того, кто уберет проклятый забор. Но такого не нашлось – и она осталась стоять, держась за доску и повесив голову.

Катя, подойдя с другой стороны, положила ей руку на плечо.

– А ты поплачь, – сказала тихонько. – Давай ко мне пой-

дем, посидишь у меня... бедная ты моя...

Прасковья поглядела ей в глаза.

– У нее, моей голубушки, – сказала, – волосики-то за ночь побелели!.. Я-то что?! А на нее гляжу – а у нее одна прядка темненькая, другая – беленькая... А мне-то что?... Кто я?... А она сидит и просит, чтобы не выносили... отец Василий, говорит, придет – исповедовать, причащать и соборовать... Нельзя, говорит, без исповеди... Нельзя с собой в могилу все грехи брать... А я-то что?... Разве я виновата?... А она-то знай, одно твердит – пусть лучше я, твердит, помру без покаяния!..

\* \* \*

В спальне был непонятный полумрак. После обеда ему наступать вроде было рано. А обед подавали только что... если вообще подавали... невозможно вспомнить поминальный стол и то, что на нем, и ни единого слова о кушаньях... и вкуса, и запаха тоже...

Нет – ободок тарелки вдруг перед глазами обозначился, ни с того ни с сего. И пропал. Синее с золотом и в цветочек...

Аксюша подняла глаза и увидела себя в зеркале – высокую, статную, но с неузнаваемым лицом.

Вспомнила: кто-то шутил, что они с Андреем – ровнюшки, и годами вровень, и плечиками... почти...

А не свое там лицо... не свое...

Она обеими руками огладила волосы, обжала, свела пальцы у основания косы. Все равно в этом лице больше не было ничего такого, за что его можно было бы признать своим.

Но коли не свое...

То, что началось, невозможно было описать словами. А если бы нарисовать – так получилась бы дремучая чащоба, в которой только что еще не было ни пути, ни тропинки, один густой мрак, и вдруг непонятно откуда пробился свет – и обозначились ветви, стволы, чуть-чуть, может, и не светом, а шорохом листвы, запахом, иной теплотой воздуха вокруг них...

А если бы сыграть – так вышло бы, словно совсем маленькие дети в шесть ручонков трогают клавиши, и вдруг несколько нот подряд сложились отчетливой мелодией, словно клавишин задал вопрос, заведомо не имеющий ответа.

Ровнюшки... На придворном маскараде их было бы не отличить...

Аксюша повернулась и огляделась.

Вещей Андрея не было нигде. Умница Прасковья прибрала в чуланчик тот кафтан с камзолом и те штаны, в которых его привезли. Догадывалась, что барыня пойдет их искать. Хитрая Парашка! Она и тетку Анну Тимофеевну подговорила с Аксюзшей ночевать. Вот тетка прикорнула в кресле, свесив на грудь голову в богатом кружевном чепце, вон и сестрица Глаша на скамеечке. Ночь их сморила...

Ночь... Непонятно, когда и наступила.

Спасительное полнолуние! Хотя и горит лампадка перед образом, но без лунного света в спальне впору пробираться на ощупь. Это только ранним утром солнце будит их... будило...

Аксюша пошла искать, отыскала и положила на постель мужнин кафтан с камзолом, штаны, чулки. Потом быстро сбросила платье и осталась в нижней рубаше.

Она некоторое время глядела на разложенную одежду. Эта одежда не могла сохранить тепла Андреева тела, так горевшего в тот день... и сгоревшего... Когда Аксюша вытаскивала вещи, то впопыхах и бездумно схватила их в охапку, теперь же на нее напал страх – боязнь прикосновения. Наконец она тихонько погладила камзол. Ткань была шелковиста. Ксения взяла ее на руки, как дитя, подведя ладошки снизу, и донесла до лица. Прохлада и легкий запах пота, ничего больше...

Она боялась, что штаны окажутся узки, но зря – сошлись, точно на нее шиты. Распялила на руках камзол. Тут оказалось, что все же Андрей был повыше, просто мерились они, когда Ксения была в башмачках на немалых каблуках. Застегнула камзол – на груди сошелся с трудом. Надела сверху кафтан. Широковат и длинноват... Повернулась к зеркалу.

Знакомый образ в нем, в темно-туманном, обозначился. Статный, затянутый в зеленое стан, щегольские красные штаны на стройных ногах. А лицо...

Андрюшенька!

Вот чье лицо! Как же сразу-то не признала?...

Выходит, вымолила она его? Не умрет теперь без покаяния? Выходит, есть Божья справедливость?

Аксюша не поняла, когда вспыхнули свечи в канделябрах по обе стороны высокого темного стекла. Получилось странно – словно она стоит в полумраке, но там, за проемом рамы, – светлое помещение, и в нем – Андрей.

Аксюша боялась пошевелиться. И он тоже.

Но сколько же можно так стоять?

Она протянула руки к живому и онемевшему от радости мужу.

Он протянул руки к ней.

– Андрюшенька... – прошептала она.

– Аксиньюшка... – прозвучало в ответ.

– Милый!..

И одновременно шевельнулись его губы, а лицо исказилось мукой:

– Спаси меня!..

Она все вспомнила.

– Да, да, да! – закричала она. – Да! Да!..

Тетушка Анна Тимофеевна, чуть не свалилась с кресел, замахала спросонья руками. Глаша вскочила, споткнулась, упала на одно колено. И тут же дверь отворилась, торопливо вошла строгая Прасковья.

– Аксиньюшка, голубушка моя, ты что это затеяла?!

Она кинулась обнять хозяйку и, обнимая, стянуть с нее

одежду мертвого мужа. Но Аксюша извернулась и выбежала на лестницу. В одних чулках она спустилась вниз, пробежала по коридору, толкнула дверь и выскочила на крыльцо.

Ночь. И если выйти на улицу – всякий издали скажет, что Андрей Петров шагает. Всякий! И ближе подойдет, в лицо заглянет – тоже Андреем Федоровичем назовет.

Да?...

Да!

Мысль, что посетила и вылилась в слова, ошеломила Ксению. Она была удивительной простоты, и Ксения не ощутила, что простота эта – как во сне, когда возникают причудливые связи между вещами и кажутся единственно возможными.

Ее состояние не было сном или грезами наяву – это все же было бодрствование, но от усталости какое-то просветленно-обостренное, на грани вещего сна.

Она улыбнулась – да, путь обозначился!

Подняла голову к небу и произнесла отчетливо, хотя и негромко:

– Положи душу свою за други своя.

Кричать было незачем – Бог и так услышит.

\* \* \*

– Да побойся Бога! – твердила, ходя следом, Прасковья. – Да что люди-то скажут?...

– А чего им говорить? Схоронил я свою Аксиньюшку, хочу ее вещицы бедным раздать, и платьца, и рубашечки, и чулочки...

На пол из комода полетело белье, образовав неровную бело-розовую кучку.

– Аксинья! Очнись! – Прасковья что было силы принялась трясти сгорбившуюся фигурку в широковатом зеленом кафтане.

– Да что ты говоришь, Параша? Что ты покойницу зря поминаешь? Умерла моя Аксиньюшка, царствие ей небесное, а я вот остался. Я еще долго жить буду.

– Да что же мне, отца Василия звать? Чтобы он пришел и сказал: Андрей Федорович умер, а ты, барыня Аксинья Григорьевна, жить осталась?

– А зови, милая. Придет он и скажет: день добрый, сударь Андрей Федорович, каково тебе без твоей Аксюши? Померла, бедная, без покаяния, тебе теперь за нее по гроб дней твоих молиться... Пока не замолишь – страдать будет, чая от тебя лишь спасения...

Прасковья в изумлении следила, как вываливались на пол платья, простыни, наволочки, шубка...

– Я – Андрей Федорович, – слышала она ровный голос. – С чего вы все решили, будто я умер? Умерла Аксиньюшка, а я вот жив, слава Богу. Есть кому за нее молиться... Вещицы раздам, сам странствовать пойду... А ты, Параша, тут живи. Деньги наши с Аксиньюшкой возьми в шкатулке, в церковь

снеси, пусть там молятся за упокой души рабы Божьей Ксении. А сама живи себе и бедных сюда даром жить пускай...

Прасковья решительно вышла из комнаты.

Скоро она уже была у отца Василия.

– Как быть-то, батюшка? – спросила, рассказав, чему была свидетельницей. – Имущество-то свое раздаст, опомнится – хватать, а его уже и нет. Дом мне отдать решила.

– Ты ступай-ка к начальству покойного. Ей ведь как вдове за него еще и пенсион положен. Пусть придет кто-нибудь, вразумит, запретит. А я как быть – право, не ведаю...

Батюшка помолчал.

– Надо же, что на ум взбрело... Помереть без покаяния додумалась вместо мужа – как будто Господь с небес не разберет, кто муж, а кто жена...

Поглядел на озадаченную Прасковью:

– А ты ей не потворствуй! Или потворствуй, но в меру... чтобы с собой чего не сотворила...

– Не сотворит, батюшка. Она сказывала – я-де теперь Андрей Федорович, я долго жить стану.

– Поглядим...

\* \* \*

Дом был пуст. Горничной Даши – и той Прасковья не докричалась.

Жалкое и страшноватое зрелище он собой являл: все две-

ри распахнуты, все сундуки и шкафы повывернуты. Ни тебе посуды, ни подушки хоть одной...

Прасковья пошла к себе в комнатку. Ее вещей Аксинья Григорьевна не тронула, более того – на столе Прасковья обнаружила красивые чашки, видать – подарок.

Очевидно, крепко втемяшилось в голову отчаявшейся барыне, что дом останется ее надежной Параше, с самого венчания и переезда – домоуправительнице.

Прасковья села на кровать и задумалась. Нужно было что-то предпринять. Как велел батюшка, идти к начальству покойного Андрея Федоровича. Искать себе занятие – дом домом, а в нем недолго и с голода помереть. Жалование-то платить некому, хозяин – в гробу, хозяйка с ума сбрела.

Ох, хозяин...

Маша, нашептывая Кате на ушко, была права – Прасковья как раз хозяина-то и любила, куда больше хозяйки. Аксинья Григорьевна была чересчур молода, весела, звонкоголоса, чересчур шустра для основательной Прасковьи. За годы службы Прасковья, понятно, к ней привязалась и жалела, что Бог не послал деточек. Однако барин, Андрей Федорович, – это было иное, иное...

Когда он, готовясь к концерту, разучивал легкомысленно-нежные песенки, Прасковья тихонько подслушивала. Уж очень складно получалось у неизвестного ей сочинителя про любовь, а выразительный голос доносил радость и печаль до самой глубины души. И больше за барина, чем за барыню,

беспокоилась Прасковья, что нет детей. Уж его-то сыночка она бы холила и лелеяла!..

О своих и не мечтала. Не нравилась она здешним кавалерам, хоть тресни. За спиной ее называли ломовой лошастью, она знала про это и не обижалась. Лошадь – тоже тварь Божья, и не из худших, в поте лица хлеб зарабатывает, сказала как-то Прасковья Даше и долго не могла понять, отчего молоденькая горничная так весело расхохоталась.

Но теперь нет ни хозяина, ни хозяйки, а что-то надо решать.

– Параша! Паранюшка! – зазвенел голос во дворе.

Прасковья выглянула в окно. Там стояла Катя и озиралась по сторонам.

– Тут я! – приоткрыв створку, Прасковья выглянула.

– Параша, беги скорее! Барыня твоя у Сытина рынка бродит! Мальчишки за ней увязались! Сейчас оттуда Савельевых дочка прибежала – смеху, говорит! Все ее трогают и спрашивают, а она отвечает – не троньте, я Андрей Федорович! Беги скорее, заberi ее!

Но, когда Прасковья добежала до рынка, Аксиньи Григорьевны там уже не было, и никто не умел объяснить, куда подевалась.

Она расспрашивала старушек, из тех, что брали корзинку яблок или груш за двадцать копеек, а продавали по две копейки за десяток.

– Ох, мать моя... И не признать-то сразу! Идет в этом

кафтанище, уже изгваздан где-то, волосики висят нечесанные, глядит по сторонам, словно бы ищет чего-то, и бормочет, и бормочет!.. Страсти!..

Прасковья поспешила туда, где, по ее разумению, могла бы оказаться Аксинья Григорьевна, – к берегу реки Карповки. Ей доводилось слышать, как безумцы, нагулявшись, спешат утопиться. Среди детей, играющих у воды, она не увидела фигуры в мешковатом зеленом кафтане, красных штанах и треуголке. Но барыня непременно была где-то поблизости.

– Аксинья Григорьевна! – принялась во весь голос звать Прасковья.

Детям было не до нее, а барыня не отозвалась.

Вдруг Прасковье сделалось как-то странно. Она не сразу поняла, что солнце ушло за тучу. Похолодало вроде самую малость, однако дети засуетились. Повеяло непогодой, стремительно собирался дождь. И он хлынул, разогнав ребятню.

Прасковья, уверенная, что барыня прячется неподалеку, стояла под разлапистым кленом и звала, что было мочи.

Того только недоставало, чтобы барыня, промокнув, свалилась в горячке!

Страх обострил способности Прасковьи – она поняла, что на прежнее свое имя хозяйка может не отозваться.

– Андрей Федорович! Домой ступайте! – закричала она.

Совсем неподалеку зашевелились кусты и воздвигся человек. Дождевые струи лупили по его плечам, по обвисшей треуголке.

– Тут я, голубушка, чего надо? – хрипловато спросил он.

– Андрей Федорович!.. – Прасковья ахнула и застыла.

Непостижимым образом перед ней стоял именно он – усопший хозяин. Его взгляд, мимо Прасковьи, и то, что отличало от прочих мужских и женских голосов его голос...

Этого быть не могло, Прасковья принялась креститься, а тот, кто изумил ее своим появлением, повернулся и неторопливо пошел прочь под дождем, сперва положим берегом, потом – шлепая по мелководью.

Последние жаркие дни необычайно солнечного для здешних краев августа взяли, да и кончились – решительно, словно смертельно устали длиться.

\* \* \*

– Постой, милая!

Юношеский певучий голос был ласков, как утренний луч в мае, что пригрел сквозь окошко спящее лицо, но еще не добрался до глаз.

Андрей Федорович невольно обернулся.

Двое юношей подзывали его к себе, не говоря более ни единого слова. Они не глядели людьми, привыкшими приказывать, а скорее сельскими молодцами в пору сенокоса. Белые рубахи и порты были из чистейшего холста, а шапок юноши не имели никаких, и светлые, до плеч кудри того, что позвал, отдавали бледным золотом, а завитки другого, чуть

длиннее, чем у товарища, не только обрамлявшие высокую шею, но и двумя витушками лежащие на груди, были чуть потемнее и с бронзовым блеском. В остальном же юноши были братьями-близнецами, но нездешними – Андрей Федорович даже не знал, у мужей какого народа бывают маленькие, полные и яркие вырезные губы, темно-голубые кроткие глаза, тончайший и нежнейший овал чуть тронутого румянцем лица.

Неодобрительно поглядев на тех, кому удалось заставить его обернуться на обращенный к женщине зов, Андрей Федорович пошел прочь. Он прошагал всю долгую улицу довольно скоро, хотя спешить не собирался, у него был впереди весь день и никакой заботы, кроме этой самой ходьбы. В створе улицы его окликнули вновь.

Теперь юноши стояли, заступив дорогу. Удивительно было, как они обогнали Андрея Федоровича. Не желая поднимать на них глаз, он уставился на босые ноги – и тогда лишь пришел в подлинное недоумение.

Человек, который шлепает в распутицу босиком по петербургской грязи, имеет на ногах некие блестящие черные сапожки, которые, высохнув, отваливаются бурой пылью, если, конечно человек – неряха, не желающий, войдя в дом, помыть ноги.

У этих же был вид, словно они ступали только по воздуху. Да так оно и было...

– Отойдем в сторонку, поговорим.

– Нам о важном потолковать надобно.

Они произнесли это, не сговариваясь и одновременно.

Андрей Федорович смешался.

Он знал – даже не верил, а знал, что настанет день, и голос, возникший необъяснимо откуда, скажет:

– Говори, в чем твоя обида.

Но он не был готов к тому, что это случится на уличном перекрестке.

– Мы к тебе с просьбой, радость. Ты уж что-нибудь одно выбери, – попросил юноша с золотистыми кудрями. – Очень нам обоим неловко получается. Ни он, ни я своей обязанностью выполнить не можем.

Андрей Федорович уже начал догадываться, кто это такие. И внимательно поглядел на плечи – ему сделалось любопытно, как крепятся ангельские крылья. На иных образах их держали две парчовые перевязи крест-накрест, тут же было не понять, они остались незримы, и только ветерок от них веял тепловатый прямо в лицо.

– Коли ты – раба Ксения, так я твой ангел-хранитель до самой смерти. Но ты от имени своего отреклась и не меня призываешь. И не ведаю – отлетать ли от тебя, или дальше за тобой смотреть? А вот раба Андрея ангел-хранитель. Ему бы, схоронив раба Андрея, лететь встречать новую душу, а ты не пускаешь. Вот мы с ним и маемся, я – без дела, он – не понимая, как теперь дело делать. А мы, сама знаешь, перед кем в ответе...

– Что же Он не рассудит? – спросил Андрей Федорович.

– Он ждет... – прошептал ангел-хранитель рабы Ксении. – А чего Он ждет – нам знать не дано. Мы посоветовались и к тебе стопы направили. Отпусти моего брата, вернись ко мне, радость! Не смущай нас понапрасну!

– А то ведь Он ждет, ждет, да и не захочет больше ждать, – предупредил ангел-хранитель раба Андрея. И по голосу ясно было – не свой, чужой, строг и недоволен тем, что помешали дальнейшему служению.

Андрей Федорович вздохнул.

– Это вы меня смущаете, – сказал он. – Я Аксиныюшку свою схоронил, ее грехи замаливаю, мне недосуг. Что же ты, рабы Ксении ангел-хранитель, ее от смерти без покаяния не уберег?

Ангел-хранитель рабы Божьей Ксении изумился такому упреку несказанно. Вроде и беседу они завели доверительную, беседу тех, кто знает истинное положение дел, и на тебе!

Ангел-хранитель раба Андрея посмотрел – и увидел не взгляд, а лишь ресницы. Андрей Федорович в упрямстве своем опустил взор в землю.

– Как ты можешь знать Божий замысел? – спросил ангел проникновенно.

– Не могу, – согласился Андрей Федорович. – Может, он таков, чтобы всякий испытание имел? Меня Аксиныюшкой испытывают: молебны в храмах служить велю, сам в тепле

полеживая, или с молитвой пойду по миру для спасения ее души?

И поглядел в ясные глаза сперва одному, потом другому ангелу.

\* \* \*

– Погоди, погоди, Аксиньюшка, не угнаться мне...

Голос был знакомый, хрипловатый, немолодой. Он и девичьим не был звонок, а к старости порой делался вовсе невнятен.

Андрей Федорович слышал, что старухе тяжело поспешать следом. Она, как многие городские безумцы, вздумала звать его именем покойницы-жены. Но это была старуха со знакомым голосом, которым не раз в своей келейке вычитывала одни и те же поучения гостям, навещавшим по праздникам с подарками.

Он остановился вполоборота – чтобы поскорее выслушать, что старуха имеет ему сказать, и поспешить прочь.

– Аксиньюшка... – жалко, проникновенно сказала, подходя, матушка Минодора. – Насилу тебя сыскала... Не беги прочь, послушайся... Покорись...

– Оставь, не тревожь покойницу, – произнес Андрей Федорович точно так же, как повторял ежедневно в своих скитаниях. – Зачем вы все мою Аксиньюшку тревожите?

Но монахиня словно бы и не слышала.

– Пойдем со мной, голубушка моя, поплачем вместе, сжа-  
лится над тобой Господь...

– Сжалится?...

– Слезы тебе вернет. Выплачешься – молиться вместе бу-  
дем.

Матушка Минодора была двоюродной сестрой бабки, Акулины Ивановны, одной из первых насельниц Воскресенской Новодевичьей обители, а до того вела иноческий образ жизни в собственном доме. Младенцем Аксюша живмя жи-  
ла в келейке, привыкнув звать инокиню бабушкой, и, выйдя замуж, постоянно ее навещала. В память о нежной при-  
вязанности покойницы Андрей Федорович не стал уходить сразу, смирился.

Видя, что норовистый беглец не выкрикивает грубое сло-  
во и не уходит, крестясь и отплеываясь, словно черта встре-  
тил, а это за ним водилось, матушка Минодора взяла Андрея Федоровича за руку.

– Послушай меня, пойдем в келейку. Там образа...

– Нет, матушка, не пойду.

Образов Андрей Федорович не хотел. Лики стали для него  
человечьими лицами, написанными в помощь тому, кто ина-  
че не может себе представить Христа и Богородицу. Он же  
даже не пытался это сделать – не имел нужды в бездонных  
очах юной скорбной Жены и ее Сына. Он избрал себе иное –  
тот ночной мрак над его головой, в котором они, несомнен-  
но, незримо пребывали, и вести с ними, затаившимися, бе-

седу было ему легче, привольнее, слова сами шли от души, и слова обиды тоже.

– Чем же келейка плоха? Вот ты сейчас по грязи идешь, думаешь, как бы не шлепнуться, не удариться, мокро тебе, холодно, башмачки-то стоптались, и думаешь ты о башмачках, о ножках своих продрогших. А в келейке не жарко, да сухо, и мысли все в молитве...

Андрей Федорович подумал – вот начнется недоумение и суета, если попроситься в мужскую обитель! Ведь и там, по-ди, нечистый всем очи отвел, вздумают, будто не он, а милая Аксиньюшка проситься пришла... Как быть с ослепшими и закосневшими в слепоте своей?

– Пойдем, радость! – умоляла матушка Минодора. – Поплачем вместе, помолимся...

– Нет, матушка, – мягко, стараясь не обидеть, отвечал Андрей Федорович. – Не могу я.

– Что ж не можешь? Ты попробуй...

Монахиня чуточку хитрит, подумал Андрей Федорович, она полагает, что если заманить продрогшего человека в тепло, то разум в нем сам проснется!

– Не стану. Мне тут молиться надобно.

– На улицах? Чем же улица лучше кельи?

Чем?

Он не хотел говорить, да вырвалось.

– Тут меня Господь видит!

И, ощутив неловкость за то, что вынужден объяснять

такие простые вещи, поспешил Андрей Федорович прочь, ощущая ледяную стынь луж, которые упрямо не желал обходить. Пусть Господь видит и это...

\* \* \*

И точно – от церковного купола молитва идет золотым снопом, как в нем один-то колосок разглядеть? Поди, вытащи колосок из сердцевины снопа...

А коли выйти ночью на открытое место, так там ты – один, и поднятое к небу лицо твое – одно. Поклонишься на все четыре стороны – и посылай вверх свою молитву, сперва, как водится, заученную, потом – как придется...

Если место удачное и душа за день приготовилась, то вскоре не станет холода, охватит жар.

Да и просто на улице – тоже ведь не всякий на ходу молится, молитва к небу одна-одинешенька поднимается, а поглядеть сверху – от кого? А от того кавалера в зеленом кафтане, в треуголке, что неспешно совершает променад, от полковника Петрова Андрея Федоровича. Сверху он, один в толпе, именно так и виден.

Вот пусть он и будет сверху виден, вдовый полковник Петров, что идет себе, бредет, да на ходу молитву творит за безвременно почившую супругу. Может, и сумеет ее грехи замолить.

Вот пусть Тот, чья воля позволила ей умереть без покая-

ния, и видит молитвенника!..

\* \* \*

Незримо шли по Петербургской Стороне два ангела, похожие, как родные братья. Их крылья, полупрозрачные, словно у стрекоз, хотя и оперенные, были сложены и плоско спадали до земли, наподобие двух плащей из белого холста.

Они шли молча, словно бы прислушиваясь.

Ангелы находились между двумя точками, и одна была на земле – узкая спина в зеленом камзоле, удалявшаяся, мелькавшая впереди сквозь пеструю толпу, а другая – очевидно, в небе, незримая, откуда и должен был прийти повелевающий голос.

Ангелы который уж день надеялись на этот голос, который избавит от мучительной, неправильной, стыдной какой-то неопределенности. Но голос медлил.

– А может, и верно – испытание? – спросил тот, чьи кудри были светлее пшеничных колосьев.

– И что же? Он ждет, чтобы мы от нее отrekliсь и к Нему прилетели? – вопросом же отвечал другой, с кудрями, отличавшими бронзой. – И похвалит нас за это?...

– Молчи!..

Непонятно было, почему вскрикнул первый ангел – то ли крамолу почуял в словах товарища, а то ли показалось, будто с неба летит долгожданный глас.

Но опять ошиблись ангелы – тишину они слышали, весьма многозначительную, между прочим, Господню тишину.

– Время вечерней молитвы, – сказал белокурый. – Я все думаю – до сих пор не бывало, чтобы человек от своего ангела-хранителя отрекся и чужого выбрал...

– То-то и оно, что не чужого.

– Может, ты с ней останешься? – с надеждой спросил белокурый. – Ты ей нужен, ты, это твое испытание... А от меня она отеклась...

– Никогда такого не было, чтобы нас – нас! – испытывали.

– Не введи нас во искушение... – тихонько прошептал совсем расстроенный ангел-хранитель рабы Ксении.

– А вот ведь ввел... – так же, шепотом, как будто надеясь, что вольные речи не долетят до Его слуха, печально отвечал ангел-хранитель раба Андрея.

И тут Андрей Федорович обернулся.

Он единственный в толпе видел двух неземной красоты спутников, бесцельно сопровождавших его который уж день. И он, повернувшись, решительно к ним направился.

– А вот царь на коне, – сказал Андрей Федорович, протягивая ангелам копейку с полустертым всадником. – Помолитесь, убогие, за мою Аксиньюшку!

Он разжал руку – копейка упала в грязь.

Андрей Федорович покивал, глядя, как растерявшиеся ангелы смотрят под ноги, и прошел между ними, и пошагал туда, откуда пришел, бормоча невнятно молитву.

Маша была премного довольна – грязи по колени, осень в Санкт-Петербурге серая, промозглая, дождь не льет, не моросит, а водной пылью в воздухе висит, ей же распахнулась дверца нарядной кареты! Жаль только, никто из соседей не видит, как она едет в карете.

А что позвали ее туда две театральные девки – кому какое дело? Да на карете и не написано, а сами они к окошку не рвутся, смиренно внутри сидят. Маша же так и старается выглянуть – неужто никого не найдется из знакомцев, чтобы увидел?... Экая обида!..

– Экое дурачество, – не совсем уверенно сказала Лизета. – И нарочно такого не вздумать. Беспременно!

Модное слово «беспременно» не сходило с ее уст, как перед тем иное модное слово «болванчик». Графа, ее покровителя, такие речи до слез смешили, а жалко, что ли, старичка порадовать? Вот она и говорила самым что ни на есть новомодным языком.

– И ходит в его кафтане? – переспросила Анета. – Так это, выходит, она?...

Слухи о странном безумце, который на самом деле переряженная женщина, дошли уж и до Невского.

– Она, она! – подтвердила Маша. – Мы как раз после Успенья Богородицы смотреть ходили – точно, она!

– И в дом не заходит? Спит на церковной паперти? – выясняла Анета, припоминая слухи, которые ходили о новоявленной юродивой.

– Где спит – кто ж ее знает? А дом Парашке отдала, помнишь Парашку Антонову? Такая кобыла! То бесприданница была, теперь сразу целый дом в приданом, того гляди, к ней свататься начнут.

– Так дом отдать – это же бумаги писать надо! Дарственную, что ли! – догадалась вдруг Лизета. – Мне вот страсть как хочется домком разжиться, я и узнавала.

Маша покосилась на нее, подумав: известно, откуда у вас, у театральных, имущество берется, за что вас дарят!

– С бумагами тоже там что-то было, – отвечала. – Парашка-то испугалась – ну как родня петровская из дому выгонит? Пошла прямо во дворец! До самого начальства добралась. Как-то глядим – карета у дома останавливается, конные рядом! Из кареты монах выходит и – в дом. Потом Парашка объяснила – бывший полковника начальник приезжал, она к нему нарочно Аксинью приводила. Та пришла...

– Монах? – не сразу поняла Лизета.

– Да отец Лаврентий, поди! Он ведь хором заправляет – вот и начальство, – объяснила Анета. – Так пришла – и что же?

– В дом не вошла, в саду ее тот монах уговаривал. Потом Парашка рассказывала: диву далась, до чего Аксинья Григорьевна разумно отвечала. Только на имя не откликалась – а

чтобы звали Андреем Федоровичем. И как-то они договорились, чтобы Парашке в доме жить. Правда, к тому времени она, Аксинья, чуть ли все имущество в церковь потаскала. Охалками носила и на паперть клала. А Парашке много ли надо? Ее-то комнатка цела.

– Поедем, ма шер, поглядим! – решила Лизета. – До сих пор только в жалостных пьесах от любви с ума сбредали, а тут – наяву!

– Крепко же она его любила... – Анета призадумалась.

До сих пор она в своих шалостях и проказах вовсе не брала в расчет жену полковника Петрова. Оказалось – жена-то со своей любовью оказалась куда как выше нее, хотя и трудно было в этом признаться...

После ужасной ночи Анета сперва была сама не своя. Дуня привезла ее домой рыдающую, два дня выхаживала, слушая от нее покаянные речи. Анета стгоряча винила во всем себя, даже в монастырь собиралась бежать, но прислали из театра – через день давали балет «Торжество Амура», в котором Лизета была Венерой, а Анета – главной нимфой.

– Никуда не поеду! Пусть хоть за косу в театр проклятый волокут! – сказала Анета Дуне.

Часа за три до спектакля она села перед зеркалом.

Оттуда на нее глядела бледненькая, осунувшаяся девочка, куда моложе, чем полагалось бы на самом деле. Это танцовщице даже понравилось. Дуня застала ее за важным занятием – она прикладывала к лицу ленты блеклых тонов, как на-

учила ее говорить Лизета – машинально, руки сами перебирали клубочки лент, сами подносили к щекам. Умница Дуня замерла, чтобы не помешать, не спугнуть. Еще через час барыня спросила умываться, свежих чулочков, того-сего – и как-то незаметно собралась...

Дуня молчала – боялась напомнить о скорби, не то опять разрыдается. А бояться-то и не следовало – Анета за два дня попросту устала от неожиданно бурного чувства, и ее душа требовала покоя примерно так же, как ее тело, наломавшись в экзерсисе и в спектакле, требует кушетки и мягкой скамеечки под ноги.

Лизета, привезя подружку поздно вечером, тихонько расспросила на лестнице горничную – и тоже весьма благообразно не напоминала о полковнике Петрове, пока диковинная новость о его вдове не добралась и до театра. Тогда Анета, не веря ушам, пожелала узнать правду. И вот эта правда ее несколько ошарашила...

Ей казалось, что невозможно больше, ярче, пламеннее любить, чем любила она в те минуты, когда карета с умирающим катила по Большой Гарнизонной. Не бывает чувство большей остроты, думала Анета, дал Господь дойти до самого края, познать то, что немногим лишь суждено, оказалось – нет, кто-то, оказавшись на том же самом краю, кинулся вслед за любовью в бездну...

Но можно ли тут говорить о силе чувства? Или это – иное? Недоступное обычным людям, и танцовкам театральным – в

том числе?

Лизета, верная подружка, хотя при случае язва препорядочная, сообразила, каким словом помочь Анете.

– Не хотела бы я до такой любви дожить, чтобы через нее разума лишиться, – сказала она и тут же дала неожиданное и оттого тем более сильное доказательство своей приязни: – А в самом деле, что нам на нее любоваться? Доведем Машу – да и поедем домой! Погоди, душа моя, настанут холода – она живенько в разум придет. И с любовью своею вместе...

\* \* \*

– Аксинья! – позвал глубокий мужской голос.

Андрей Федорович даже не повернулся. У него было намечено пройти до рассвета от Сытина рынка до Тучкова буяна, потом по наплавному мосту – на Васильевский остров к Смоленскому кладбищу. Что-то полюбилось оно Андрею Федоровичу. Помолясь на кладбище, можно и в обратный путь пускаться. Мало ли какую Аксинью зовет привыкший к повиновению мужчина?

– Аксинья!

Шаги догнали Андрея Федоровича и пошли совсем рядом, в лад.

– Ну что ты сама маешься и сродственников изводишь?

Свистящий шорох тяжелого шелка означал, что идущий рядом – лицо духовного звания, да и не из простых.

– Да повернись, когда с тобой говорят!

Пусть та Аксинья поворачивается, беззвучно отвечал Андрей Федорович. И незачем кричать добрым людям в уши, отвлекая от вычитывания положенных на эту ночь молитв.

Некоторое время они шли рядом. Если бы Андрей Федорович хотя повернул голову, то обнаружил бы, что его ночной спутник – высокий и статный священник, надо полагать – потомственный, ибо уверенность его в своем праве была безгранична.

Уж не гордыня ли мешает мне сказать этому батюшке слово, подумал Андрей Федорович между двумя «Богородице, Дево, радуйся». А его-то – уж точно гордыня гонит по петербургской окраине Бог весть куда, невместно ему отступаться, раз уж отправился на ночь глядя читать проповедь юродивому!

Радость, возникшая от ощущения, что удалось прихватить ненужного спутника на грехе, сперва даже не показалась стыдной.

– Андрей Федорович, – не слишком уверенно окликнул батюшка.

Вот теперь можно было повернуть к нему лицо.

– Андрей Федорович, послушай доброго слова, вернись домой. Что ты, право? Осень близко. Лучше ли будет, коли тебя дождь и холод под крышу загонят? А так – своей волей вернешься. Молиться-то и под крышей можно. А то, хочешь, в храме Божьем хоть весь день поклоны бей. И в монастырь

постричься можно. Зачем же по улицам ходить, народ смущать?

Ага, подумал Андрей Федорович, смута им не по нраву. Не умеют умершую без покаяния Аксиныюшку отмолить – а туда же, с советами являются!

– Андрей Федорович! Люди же смеются. Слоняешься, прости Господи, пристанища не имея, как Вечный Жид!

Сравнение Андрею Федоровичу не понравилось.

– Вечный Жид – дурак, – твердо сказал он.

– Это почему же?

– А вот покрестился бы – и остался без греха. И помер себе спокойно...

Мысль, на которую невольно навел Андрея Федоровича незнакомый батюшка, стала развиваться неудержимо.

– Уж ему-то креститься сам Бог велел. Кому другому нужно было в Христа уверовать, а ему и этого не требовалось – что Христос есть, он ЗНАЛ! Уж коли не он – кто еще бы это ЗНАЛ? Коли по слову Христову идешь да идешь – стало быть, слово-то – Божье, а?

Чтобы выпалить это, Андрей Федорович даже остановился.

– Экие у тебя мысли еретические! – возразил, растерявшись, батюшка. Это показалось Андрею Федоровичу странным – как мысль о крещении может быть еретической? Но батюшка имел в виду иное.

– Выходит, и тебе Господь сказал – «иди»? Гордыня это,

Андрей Федорович, гордыня тебя гонит!

– Это Вечного Жида гордыня гонит, смириться перед Христом не дает. А меня... а мне...

– Тебе, выходит, тоже сказано – «иди»?

Андрей Федорович покачал головой.

– Я великий грешник. Но коли Господь мне сейчас скажет «стой», отвечу – прости, Господи, грехов еще не замолил, ни своих, ни Аксиныюшки.

– Гордыня!

– Пускай...

Ошарашив священника этим признанием, Андрей Федорович торопливо пошел прочь. Батюшка же остался стоять, шепча молитву и крестясь. Такое он видел впервые.

\* \* \*

Вельможа был юн и миловиден. Прекрасная карьера перед ним раскрывалась, как многообещающий корсаж прелестницы, и точно так же жизнь обещалась вечно быть теплой и розовой.

Оставшись рано без родителей, в восемнадцать лет женившись по удачному выбору тетки-опекунши, невольно полюбившись всем придворным родственникам и государыне, наслаждаясь подлинной роскошью, вельможа тем не менее осознавал, что окружающие его райские кущи – не постоянное состояние мира Божьего. Где-то на улицах – а улицы он

видел из окна кареты, зимой – санного возка, – было нечто иное, от чего жизнь его пока оберегала.

Об улице он и завел речь с духовным своим отцом после хорошего, поваром-французом затеянного обеда.

Духовника вельможа выбрал, соображаясь с тем обстоятельством, что человек, подверженный древнему благочестию, заведомо ничего в придворной жизни не поймет и будет лишь домогаться на исповеди совершенно ненужных ему подробностей. Приятель рекомендовал некоего молодого бабюшку, общего любимца.

Они сошлись и подружились. То есть до такой степени, что их юные жены также сошлись и подружились, тем более что обе имели маленьких детей и хотели о них заботиться наилучшим образом.

Вельможа усвоил искусство приятной беседы, а духовный отец, ненамного его старше, также умел беседу поддержать, и выходило, что за чашкой ароматного кофея они неназойливо перебирали весьма важные для духовного развития темы и, не горячась, вели тонкий, увлекательный, никогда чересчур далеко не заводящий спор.

Для таких бесед служила прелестная гостиная в зеленых тонах, разумеется, отделанная бронзой, особенно один ее уголок, где под часами в тяжелых завитках и парными канделябрами стояли два стула с решетчатыми спинками и красного дерева столик на тонких ланьих ножках. Там помещалось все необходимое, а чтобы лакей не вторгался с

услугами, большой кофейник ставили на консоль под часами. Сюда порой вельможу приглашала завтракать жена – она тоже полюбила это местечко. Для таких случаев у камина стоял и детский стульчик, предназначенный для двухлетнего младенца. Родителям было приятно баловать дитя печеньем – под строгим присмотром мамки и кормилицы, впрочем.

Зеленоватая гостиная превосходно принимала густо-лиловый шелк новой рясы священника – подарок вельможи, и тот сидел у окна, осененный зеленовато-бронзового цвета портьерой, как подлинный подарок живописцу, тем более что лицом был хорош, большеглаз и чернобров, а бороду носил недлинную, чуть раздвоенную и даже ароматную – об этом особенно заботилась юная попадья.

– О полковника Петрова жене слыхивал? – спросил вельможа. – Воля твоя, а тут что-то надобно предпринять. Бегает по улицам в придворном мундире!

– Господь ее посетил, – отвечал священник, прекрасно понимая, что вельможе охота не возмущаться, а обсудить занимательное происшествие. – А люди и дивятся...

– На то обители есть... – вельможа задумался, припоминая, видел ли он сам в детстве при обителях юродивых, или же об этом ему рассказывала тетка. Выплыло в памяти нехорошее лицо, но это, скорее всего, был деревенский дурачок, напугавший маленького вельможу на постоялом дворе.

– Подвиг юродства можно нести и не в обители.

– Подвиг юродства? Какой же подвиг? Молодая вдовушка

по мужу затосковала и умом тронулась – так ее лечить надобно.

– Лечить-то можно, да не хочет. Ведь она не с ума сбрела, ложку мимо рта несет, а у нее все складно. Когда она домишко свой домоправительнице оставила и на улицу перебралась, родня восстала – мол, не может безумная сделки совершать. Так она весьма толково доказала, что, будучи в здравом уме и твердой памяти, домишко отдает, и бумаги подписала. И опять жить на улицу ушла.

– А при дворе и не слышали! Точно ли подписала все бумаги и опять на улицу подалась? – вельможа предвкушал, как расскажет занятную новость сегодня вечером в одной гостиной, куда приезжал без жены, а жена, может, и знала, да молчала...

– Сам не видал, а люди сказывали.

– Уж не домоправительница ли ее с толку сбила? Домишко-то денег стоит.

– Как знать.

– Диковинный случай. Бывало, что вдовы через неделю после похорон с женихами под венец убегали. Бывало, что постриг принимали – и даже прехорошенькие... Бывало, дома запирались, годами света Божьего не видели. А чтобы в мужском – по улицам? Что, батюшка, отцы церкви об этом сказать изволили?

– Мужское носить – грех.

– Уж такой ли грех?

Они переглянулись. На придворных маскарадах дамы частенько появлялись в мужском, сама императрица Елизавета Петровна пример подавала. Была она высока, статна, и мундир чудо как шел к ней, позволяя уж заодно показать стройную, невзирая на полноту, ногу. С ней соперничала молодая жена наследника, великая княгиня Екатерина Алексеевна. Про эту, впрочем, говорили, что мужское платье надевает не только в маскарад, а и выходит в нем из дворца...

Вельможа, вспомнив недавнее, тихо рассмеялся.

– Время, – сказал, вставая, батюшка. – Темнеет нынче рано. А снег какой повалил!

– Снег? – вельможа, вскочив, устремился к окну. – Накопец-то! Ну, теперь пойдут катанья!

Он был еще очень молод и счастлив своей молодостью. Потому и забыл мгновенно про удивительную юродивую с ее грешным замыслом – перевоплотиться в покойного мужа. Если бы вельможе кто сказал, что его красавица-жена, не перенеся скорби вдовства, тоже на такое сподвигнется, – он замахал бы на собеседника белыми, тонкими, в дорогих кружевах руками.

Смерть была для него не то чтобы далека – она была невозможна.

\* \* \*

Ноги в дырявых башмаках распухли и уже почти не ощу-

щали холода.

Зимняя ночь, первая по-настоящему зимняя ночь Андрея Федоровича, грозила стать и последней. И до того падал с неба мокрый снег, через несколько часов обращаясь в слякоть, но сейчас, когда приморозило, он лег ровненько, таять не собирался, и всякое заветренное место, под забором ли, у стенки ли, куда мог прилечь отдохнуть уже привычный к неудобству Андрей Федорович, стало для лежания неподходящим.

Потому он брел и брел, бормоча молитвы, пока не начал весьма ощутимо спотыкаться. Наконец Андрей Федорович увидел что-то темное на снегу, округлое, обрубок какой-то, и невольно присел.

Снег падал ему на плечи и на поникшую треуголку. Падал – да и перестал.

Ангел, не выдержав этого зрелища, раскинул крылья, принимая на них снег.

Андрей Федорович поднял голову и увидел стоящего над ним в нелепой позе ангела.

Ангел был один, другой куда-то подевался. Андрей Федорович вгляделся – вроде тот, кто ему и полагается изначально, ангел-хранитель раба Божия Андрея, с бронзовым отливом длинных кудрей и скорбью на вечно юном лице.

– От снега охраняешь? – спросил. – От снежка, от дождика, от комариков? Поди ты прочь, Христа ради!..

Встав, Андрей Федорович побрел дальше. Ангел остался,

заклятый именем Христовым. Он глядел вслед – и ему в лицо веял снег, и таял, и стекал наподобие слез.

Но слезы стали стечь на покрытых легким румянцем щеках. Сделались ледяными... Упали со звоном...

Ангел поспешил следом за Андреем Федоровичем.

Он увидел подопечного сидящим у забора на корточках. Андрей Федорович съежился, невольно, сам того не желая, он пытался хоть как-то согреться. Подойти ангел не мог. Но выстроить в себе, словно музыкальную фразу из клавишных звуков, мысль о тепле – мог. Он стал сочинять тепло, сладкое, живое, стал ловить протекавшие по сырому воздуху струйки дыханий и лепить в себе сгусток тепла, наращивать его, весь в этот сгусток ушел – оставил лишь две свои руки, чтобы держать розоватый шар – хотя и не знал, как с ним быть дальше...

Андрей Федорович повалился набок и сам, похоже, не заметил этого. Он до того устал, что не проснулся и от падения. Теперь он не стал бы отталкивать помощь.

Отовсюду ангел тянул к себе искорки тепла и уже слепил изрядный сгусток, но вдруг почувствовал, что со всех сторон наступает какой-то не слишком сильный, но ровный жар. Он, удивившись, вернулся в прежнее свое состояние и поглядел по сторонам.

Первым он увидел большого черного пса. Пес направлялся к Андрею Федоровичу неторопливо, с достоинством. Одновременно с другой стороны подошла бродячая шавка, об-

лезлая, с лишаем на загривке. Еще три или четыре собаки шли с разных сторон, словно по приказу, сошлись у Андрея Федоровича, обступили его и легли рядом. Живая кудлатая шуба укрыла Андрея Федоровича и так осталась...

Ангел поднял глаза к небу.

Ангел вздохнул.

Он искренне возблагодарил Господа, и все же осталась для него в благодеянии некая неувязка, о которой он честно не хотел думать, более того – ему и не положено было о таких вещах думать. И тем не менее он видел, что произошло.

Господь явил милосердие.

А Андрей Федорович просил о справедливости...

\* \* \*

– Юбки укоротить надобно вот по сих, – Анета, наклонившись, показала на ногу.

– Не много ли? – усомнилась Дуня, стоявшая перед ней на коленях. Лево́й рукой она зажимала подол на нужной высоте, правой держала наготове булавку.

– Коли у кого ноги кривые – так много.

Анета недаром была так решительна. У нее наметилось новое увлечение, причем весьма разумное. И она, танцуя, хотела показать ногу именно ему, своему недавнему кавалеру, чтобы он еще более страстно добивался любовных милостей.

Причем же ноги у нее были едва ли не самые стройные

на театре, и она это превосходно знала. Как шутила Лизета, после родов отошедшая от танцев и окончательно ставшая певицей, румяное личико нарисовать нетрудно, на то белила и румяна в лавках есть, а ноги-то не нарисуешь.

Граф, с которым она жила, приобрел картину француза Фрагонара, и Аннета нарочно ездила ее смотреть. Картина изображала цветущий сад, двух кавалеров и даму, которая качалась перед ними на качелях, показывая ноги гораздо выше колена.

– Вот это-то им и нужно, душенька, а не твои пируэты, – сказала благоразумная подруга. – Вот ты делаешь антраша-катр, и поверь, что больше и незачем. А антраша-сиз уже ни к чему – кто там твои заноски считать станет!

Лизета очень хотела, чтобы Анета угомонилась, связала свою судьбу с богатым покровителем, а он бы со временем и замуж ее выдал, как это обычно делалось.

– А коли укоротить, то как гирлянды лягут? – спросила Дуня.

Анете предстояло танцевать одну из трех граций в балете «Амур и Психея». Гирлянда шелковых роз спускалась с левого плеча к правому боку, а по юбке другие гирлянды перекрещивались причудливым образом. По замыслу художника, внизу они достигали самого края подола.

– Подтянем повыше.

Анета была сильно озабочена соперничеством итальянок. Приехав, итальянская труппа сперва выступала при дворе, а

потом синьор Локателли додумался давать представления в Летнем саду. Горожане бросились смотреть диковинку. Приманкой были две танцовщицы – Белюцци и Сакко. Любители плясок поделились соответственно на две партии и подняли вокруг итальянок превеликую суету. Нужно было что-то противопоставить нахалкам...

Дуня подколола подол и стала отцеплять гирлянды. Анета сделала два незаметных шажочка, чтобы встать ближе к окну и следить, не появится ли карета. Многообещающий поклонник обязался заехать за ней, чтобы отвезти в приятное собрание. Следовало заставить его обождать хотя бы с четверть часа. Но не больше – он еще недостаточно желал стать единственным избранником, и чрезмерные капризы были бы некстати.

– Едет...

Дуня быстро поднялась с колен и, зайдя со спины, стала расстегивать крючки театрального платья. Оно упало, Анета перешагнула через ворох палевого атласа, и тут же Дуня подхватила с постели другое, бирюзовое, и помогла хозяйке войти в него, и вздернула наверх, и принялась застегивать, Анета же тем временем надела на шею цепочку, замкнутую под самое горлышко, со свисающим прямо в декольте сердечком. Ее волосы были уже убраны, зачесаны наверх, приглажены и напудрены, на самой макушке выложены три локон колбасками, а спереди лежала дугой, двух вершков до лба не доходя, жемчужная нить – все по парижской моде.

Дуня выбежала в прихожую – сказать присланному лакею, что барыня скоро выйдет, и вернулась. Анета уже держала коробочку с мушками, выбирая – какую наклепить.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.